

ΩΛΕΤΟ ΜΕΝ ΜΟΙ ΝΟΣΤΟΣ, ΑΤΑΡ ΚΛΕΟΣ ΑΦΘΙΤΟΝ ΕΣΤΑΙ

ΑΛΕКСΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΣ

ГИБЛЫЙ ОВРАГ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ТО КАКОРРЕМА

НЕЗАВИСИМЫЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

ИППОЛИТА ХАРЛАМОВА

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ ΧΑΡΛΑΜΩΦ



- © Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης (public domain)
- © 2023 Ипполит Харламов, идея и разработка серии
- © 2023 Ипполит Харламов, перевод с греческого
- © 2023 Ипполит Харламов, сопроводительные материалы
- © 2023 Юкка Малека, вёрстка
- © 2023 Лия , художественное оформление

Creative Commons license
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
(CC BY-NC-ND 4.0)
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Настоящее издание не предназначено для коммерческого использования. Продажа, копирование, частичное или полное воспроизведение с коммерческими целями запрещены. Создание любых производных запрещено. Частичное воспроизведение в некоммерческих целях допускается при наличии ссылки на правообладателя. С вопросами и предложениями обращаться по адресу электронной почты:

hippolyte.harlamoff@gmail.com

УБИЙЦА

общественный роман

I

Полулёжа у огня, с сомкнутыми глазами, головою опираясь на край очага, так называемый “опечек”, тётка Хадула, известная всем как Яннó или Фр́анкисса, не спала, но жертвовала своим сном подле колыбели захворавшей маленькой внучки. Что же до роженицы, матери больного младенца, то она не так давно уснула в своей низёхонькой, нищенской постели.

Маленький висячий светильник теплился под колпаком очага. Вместо света он отбрасывал тени на немногочисленные и жалкие предметы мебели, которые ночью казались чище и приличнее. Три полусгоревшие лучины и большое, поставленное на попа, полено в очаге давали много золы, чуть-чуть углей и изредка — ревущий язык пламени, заставляя старуху вспоминать сквозь полудрёму о своей отсутствующей младшей дочери, Криньó, которая, если бы находилась сейчас в комнате, нашёптывала бы нараспев: “Коль друг идёт, добра ему, а коли враг, пусть лопнет...”

Хадула, именуемая иначе Франкиссой, или Франкояннó, была женщина почти шестидесятилетняя, осанистая, с крупными чертами, с мужскою статью, с двумя маленькими хвостиками усов над губою. В уме своём, подытоживая всю свою жизнь, она видела, что никогда ничем иным не занималась, кроме как прислуживала другим. Ребёнком она прислуживала своим родителям. Выйдя замуж, стала рабою своего супруга — хотя, благодаря своему характеру и безволю мужа, была одновременно и его опекуней; обзаведясь детьми, стала она рабою детей; когда и дети её обзавелись детьми, она оказалась служанкою при своих внуках.

Новорождённое дитя появилось на свет две недели назад. У матери его были тяжёлые роды. Это она спала в постели, первеница тётки Франкоянну, Дельхарó Трахíлена. Ребёнка поспешили окрестить на десятый день, потому как хворал он тяжело: у него был нехороший кашель, коклюш, сопровождавшийся почти судорожными припадками. После крещенья, в первый вечер, показалось, что младенцу

становится лучше, и кашель немного успокоился. Много ночей Франкоянну не смыкала глаз, не позволяла даже дрёме коснуться её ресниц, бодрствуя подле крохотного создания, не подозревавшего, сколько забот причиняло оно другим и сколько страданий само должно было перенести, если выживет. Не было оно способно почувствовать и недоумение, которое одна только бабка тайком изъявляла внутри себя: “Господи, а этому-то зачем было родиться на свет?”

Старуха баюкала дитя и могла бы спеть над его колыбелью про всё своё житьё — “вставши, да за вытьё”. Прошлой ночью она, и действительно, начала бредить, рассказывая об этом житье в прозе. В картинах, сценах и виденьях пред её внутренним взором предстала вся её жизнь, бесплодная, напрасная и тяжёлая.

Отец её был бережливым, работающим и благоразумным. Мать же была злою, завистливою богохульницей. То была одна из ведьм своего времени. Она умела колдовать. Дважды или трижды за нею гнались клефты, молодчики из отрядов Каратасоса, Гатсоса и других военных вожакв Македонии. Причиной тому было желание отомстить ей: она навела на них порчу, и дела их обстояли нехорошо. Целых три месяца сидели они на месте и не могли ничего разграбить — ни у турок, ни у христиан. Правительство Коринфа тоже не посылало им никакой помощи.

Они гнали её вниз по склону, от вершины Ай-Фанасоса до плоскогорья Ильи Пророка, мимо огромных платанов и полноводного источника, а оттуда до Меровили, по горному скату, сквозь чащобы и заросли. Она попыталась укрыться в густом кустарнике, но преследователи не поддались на уловку. Шуршание листвы и сучьев, — самая дрожь её, сообщавшая сильнейшие колебания веткам и кустам, — выдавало её. Послышался грубый голос:

— Ах, вот ты где, дёвка! Попалась!

Тогда она выпрыгнула из кустов и побежала, со своими трепыхающимися белыми широкими рукавами похожая на

спугнутую горлицу. Надежды ускользнуть не было. В первый раз, спасаясь от погони, она смогла спрятаться внизу, в Пирги, потому как в той местности было много тропинок. Здесь же, в Меровили, никаких дорог и путаных стёжек не имелось, но были только купы деревьев и непроходимые заросли. Молодая ещё Дельхаро, мать Франкоянну, перескакивала, словно косуля, из кустарника в кустарник, босая, так как башмаки свои она давно уже сняла с ног и бросила себе за спину, — один башмак достался трофеем кому-то из преследователей, — и колючки впивались ей в пятки, раздирали и кровавили её лодыжки и голени. Внезапно, посреди полного отчаяния, её осенило.

На той стороне рощи, на склоне горы, находился один-единственный возделываемый оливняк, именуемый Мораитисова Сосна. Старик Мораитис, дед владельца, переселился в эти края из Мистры в конце минувшего века — во времена Екатерины и Орлова. Знаменитая сосна возвышалась посреди олив, как исполин среди карликов. Внизу, у корня, ствол тысячелетнего дерева, которое не могли бы обхватить пятеро мужчин, был весь издолблен. Его издолбили пастухи и рыбаки, пробили до самой сердцевины, вынули его внутренности, чтобы получить в изобилии горючую лучину. Но, со страшной раной в своих волокнах, в своей груди, сосна прожила ещё три четверти столетия, до 1871 года. Тогда, в июле, люди, жившие в пределах многих миль, у побережья, почувствовали мощное землетрясение. В ту ночь гигант рухнул наземь.

К тому-то дуплу, внутри которого свободно могли усесться два человека, и побежала прятаться новобрачная тогда Дельхаро, мать нынешней Франкоянну. Решение было безнадежным и даже ребяческим. Она никогда не пряталась там иначе, нежели понарошку, по-детски, как при игре в прятки. Преследователи, конечно же, заметили бы её, обнаружили бы её укрытие. Лишь со спины она была бы невидимой, но не спереди. Если бы три клефта обошли сосну, они увидели бы её как на ладони.

Трое мужчин подбежали к сосне, миновали её и продолжили бежать. Двое из них даже не оборотились назад. Они думали,

что “дёвка” побежала дальше. Только в последнее мгновение третий оглянулся, словно помрачённый, в обратную сторону, и окинул взглядом всё, кроме ствола сосны. Видел он и сосну, обобщённо, вкупе с прочими предметами, не догадываясь, что в её стволе было дупло и что в дупле прятался человек. Знал ли он о полости, выдолбленной в гигантском стволе, не слышал ли о ней — в те минуты она не пришла ему на ум. Он смотрел, не обнаружится ли где-нибудь расселина в земле, поглотившая беглянку, — ведь никакой зримой складки земной поверхности, могущей скрывать что-либо, поблизости не было. Дриады, нимфы лесов, к которым взывала она, быть может, в своих заклинаниях, защитили её, ослепили её преследователей, пустили зеленоватый туман, лиственный сумрак им в глаза, — и те её не увидели.

Юная женщина спаслась из их лап. И на протяжении всего дальнейшего времени она продолжала колдовать, наводить порчу на клефтов, накликивать на них “застой”, чтобы нигде более не было им поживы, — пока Божьею волею не настало затишье и султан Махмут не подарил Греции, как их называют, Чёртовы острова, так что безвластие на них прекратилось. Грабежи сменились налогообложением, и с той поры весь избранный народ работает на великое правительственное брюхо, “не имеющее ушей”.

* * *

Хадула Франкисса уже успела родиться к тому времени, хоть и была ещё совсем маленькой, и запомнила все эти события, о коих потом рассказала ей мать. Позже, когда она выросла, когда ей исполнилось семнадцать лет и жизнь стала более мирной, при власти Правителя, родители выдали её замуж, а в супруги дали ей Янниса Франкоса, которого жена впоследствии прозвала “Колпаком” и “Расчётом”.

Двумя этими прозвищами супруга его, Хадула, наградила его отнюдь не без причины. Колпаком она стала звать его ещё до того, как вышла за него замуж, подшучивая над ним с девичьим лукавством — и вовсе не предполагая, что ему предстоит стать её суженым и наречённым — за то, что вместо фески носил он

своего рода длинный колпак, пепельно-красный, с короткою кисточкою.

Расчётом она окрестила его позже, уже после свадьбы, из-за того, что он часто повторял фразу “таков расчёт”, а также из-за того, что не умел он верно рассчитать ни суммы в несколько пара, ни двухдневного заработка. Не будь жены, его обманывали бы ежедневно: ни разу ему не выдали бы заслуженной платы за работу на кораблях, в доке и на причале, где он трудился плотником и конопатчиком.

Долгое время он ходил в учениках и подмастерьях её отца, жившего тем же ремеслом. Старик, увидев его простодушие, невзыскательность и скромность, оценил его и решил сделать своим зятем. В приданое он дал ему нежилой дом, готовый рухнуть, у старой Крепости, где некогда обитали люди, ещё до двадцать первого года. Дал он ему и то, что называлось Бостани, находившееся сразу за пустою Крепостью, на каком-то обрывистом берегу, и отстоявшее на три часа пути от сегодняшнего городка. Подобным образом и “кусочек огорода”: пустырь, который оспаривал сосед, считая своим; другие же соседи говорили, что оба огорода, из-за которых началась ссора, были чужими и “монашьями”, принадлежавшими одному упразднённому монастырю. Такое приданое дал старый Стафарос своей дочери. Впрочем, то же была единственная дочь. Для себя, супруги и сына он оставил два свежестроенных дома в новом городе, два виноградника поблизости от последнего, два оливняка, несколько огородов — и сколько было наличных денег.

* * *

До таких событий дошла в своих воспоминаниях Франкояну той ночью. То была одиннадцатая ночь после родов её дочери. Младенцу вновь стало хуже, и страдал он тяжело. Он явился в мир уже больным. Хворь настигла его ещё в утробе матери.... В это мгновение послышался судорожный кашель, и сны наяву, воспоминания, прервались. Старуха поднялась с жалкой подстилки, на которой лежала, наклонилась над ребёнком и попыталась дать ему самодельное

лекарство. Она поднесла к светильнику маленький пузырёк. Попробовала влить ложку в губы младенца. Дитя выпило жидкость и сразу же отрыгнуло её.

Роженица заворочалась на низкой и узкой постели. Видно было, что спала она дурно, просто лежала в беспамятстве с сомкнутыми веками. Открыв глаза, она приподнялась на два или три пальца над подушкой и спросила:

— Чего там, матушка?

— Чему там быть!.. — ответила старуха строго. — Лежи покойно! Как тут ещё?.. Кашляет.

— Что ты скажешь, матушка?

— Чего мне сказать? Дитё малое... Вот, родилось зачем-то!.. — добавила старуха непонятным, странным голосом.

Спустя некоторое время роженица уснула, уже спокойнее. Старуха лишь немного прикрыла глаза в час утрени, после третьего крика петуха. Пробудилась она от голоса своей дочери Амерсы, которая пришла спозаранку из домика по соседству, торопясь узнать, как обстоят дела у роженицы, у младенца, и как провела ночь её мать.

Амерса, вторая по старшинству, была незамужнею: уже старая дева, но толковая и мастерица, а именно ткачиха; была она смугла, высока, мужеподобна, — а её приданое и вышитые наряды, изготовленные её собственными руками, уж много лет лежали запертыми в большом некрасивом сундуке, поедаемые молью и червяками.

— Доброе утро! Как вы?.. Как ночь прошла?

— Ты что ль, Амерса?.. Да вот, пережили и эту ночь.

Старуха только что проснулась и тёрла глаза, а язык её заплетался. В боковой маленькой комнатёнке раздался шум. То был Дадис Трахилис, супруг роженицы, который спал по ту

сторону тонкой деревянной перегородки, подле второй дочки и маленького сынишки, и только что пробудился. Он собирал свои орудия — тёсла, пилы, рубанки, — чтобы пойти на причал и взяться за работу.

— Слышь, как гремит! — сказала старуха. — Не может собрать по-тихому свои железяки. Кто услышает, подумает, что у них творится!..

— “Цыганский дом пылает”, — отозвалась с ехидной улыбкой Амерса.

Грохот инструментов, которые Дадис, невидимый за перегородкою, бросал по одному в свою рогожную суму — тёсла, пилы, свёрла, и так далее, — разбудил и роженицу, его жену.

— Что такое, матушка?

— Что такое!.. Констандис своё барахло в мешок кидает! — ответила со вздохом старуха.

— “А ты добро считаешь?..” — закончила поговорку Амерса. Тут послышался голос Констандиса из-за тонкой переборки.

— Проснулись, тёща? — спрашивал он. — Как вы?..

— Как мы! “Как курица на мельнице...” Иди, выпей ракии.

Дадис появился в дверях зимней спальни. Был он широкогрудый, с некрасивым туловищем, “безобраза”, как говорила его старуха-тёща, и почти безбородый. Старуха указала Амерсе на маленькую бутылку с ракией, стоявшую на полочке над очагом, и жестом попросила её налить рюмку для Констандиса.

— А смоквы у нас нет? — спросил тот, приняв рюмку с ракией из руки свояченицы.

— Откуда у нас такое!.. — ответила старая Хадула. — Нам бы “сорок сушек на золе”, — добавила она, имея в виду расходы, постигающие и беднейшие семьи, когда разражается такое “знаменательное событие”, как рождение дочери.

— Тебе жених с глазами нужен? — сказала свояченица Амерса, припомнив другую поговорку.

— Будто тебе кривой мужик согдится! — ответил, не обидевшись, Дадис. — Ну, будем здоровы! Добрых сороковин!

И осушил залпом маленькую рюмку.

— До вечера!

Надев свою суму, он отправился на причал.

II

Огонь угасал в очаге, светильник еле теплился в маленькой нише, роженица дремала в постели; младенец кашлял в люльке, а старая Франкоянну, как и в предыдущую ночь, бодрствовала на своём тюфяке.

Было время первого крика петухов, когда воспоминания являются наподобие привидений. После того как её выдали замуж, “покрыли ей голову” и снабдили приданым в виде полуразвалившегося дома в старой заброшенной Крепости, сухой бахчи на дикой северной окраине и пустыря-огорода, за который шли споры с соседом и с монастырём, новобрачная вместе с супругом поселилась в доме своей золовки, вдовы, и начала обустроить скудное хозяйство. В росписи приданого, впрочем, было подробно перечислено, сколько смен одежды ей дали, сколько сорочек, сколько зголовий; были упомянуты там две медных кастрюли, одна сковорода, одна жаровня, и так далее. Даже вилки, ножи и ложки были учтены в росписи приданого.

В понедельник, наступивший после свадьбы, золовка всё проверила и обнаружила, что из указанного в перечне не хватало двух простыней, двух подушек, одной кастрюли, а также одной полной смены одежды. В тот же день она потребовала от сватъи принести недостающее. Скупая старуха ответила, что, дескать, “чего дала — дала добром, и всего достаточно”. Тогда золовка подговорила своего брата; он пожаловался молодой жене, и та отвечала: “Знал бы выгоду, дак не допустил бы, чтоб тебе дом в Крепости отписали, где только черти и живут; чего теперь проку от рубах с простынями, коли не мог взять дом и виноградник с оливняком?”

Перед помолвкою Хадула пыталась нашёптывать об этом жениху. Хотя и была она ещё совсем молодою, но, благодаря природным свойствам и урокам матери, вольным и невольным, уже обрела преизрядную для своего возраста хитрость. Однако же мать, почуявшая, чем пахнет дело, и испугавшаяся, что Бесючка, как называла она обыкновенно свою дочь, взбаламутит жениха и тот, осмелевши, попросит больше приданого, установила тираническую слежку за дочерью и её наречённым, не позволяя даже кратчайшей уединённой беседы между ними двоими. Предлогом тому служило соблюдение целомудрия:

— Неча... ещё наладит мне байстрючонка... Бесючка эта! — говорила она.

Как вы видите, иносказательный глагол заимствовала она из ремесла, которым занималась артель (“ладить корабль” означает “строить судно”). В действительности же она поступала так, дабы не оказаться вынужденной дать приданое побогаче.

Однажды ввечеру, накануне помолвки, жених с сестрою пришли к ним домой, чтобы обсудить приданое, и пока старый корабельный мастер диктовал роспись Анагно́стису Сив́иасу, церковному певчему, который, сняв с пояса латунную чернильницу и вынув очинённое гусиное перо из длинного футляра, очень похожего на пистолет, положил себе на колени Апостол, сверху на книгу — лист толстой бумаги, и под

диктовку старца написал: “Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа... выдаю дочь мою, Хадулу, замуж за Иоанна Франкоса, и даю ей, попрежь всего, моё благословение...”, Хадула стояла напротив очага, рядом с “темплой” — стопкой перин, одеял и подушек, укрытых шёлковой простынёю и увенчанных двумя огромными зголовьями, — казалось бы, такая же неподвижная и гордая, как эта темпла... но на самом деле она тайком подавала знаки, нетерпеливо, хотя и с великою осторожностью, — подавала знаки жениху, подавала знаки золовке, чтобы те не соглашались взять в приданое “дом в Крепости” и “огород в Стивотó” и потребовали дом в новом городе и виноградник с оливняком в его округе.

Тщетно. Ни жених, ни золовка не замечали отчаянных знаков. Только старуха-мать, — которая, хоть и вынуждена была повернуться задом к дочери, чтобы учтиво общаться со сватьей и зятем, а всё-таки села таким образом, что лишь половина спины её была обращена к девушке, — внезапно, словно некий незримый дух сообщил ей о творящемся неладном, резко оборотилась в сторону дочери и увидела её запретные “выходки”.

Немедля она выстрелила в неё взглядом, полным страшной угрозы.

— У! Бесючка! — прошипела она про себя. — Погоди у меня!.. Я тебе задам.

Но уже в следующее мгновение она подумала, что говорить об этом с дочерью было бы неосмотрительно. Она испугалась, как бы та не пожаловалась отцу. Тогда положение, конечно же, затруднилось бы. Старик, вероятно, размяк бы от мольбы и рыданий единственной дочери и отписал бы ей побольше приданого. Потому она промолчала.

Хадула изумилась тому, что мать, хотя и отчётливо увидела те рискованные знаки, но, когда они остались одни, в первый раз за всю свою жизнь не наградила дочь ни царапинами, ни щипками, ни укусами, как было у неё в обыкновении. Заметим, что включение в приданое дома, находившегося в старом

заброшенном селе, обладало одним мнимым достоинством: в Крепости сохранялось ещё множество дворов, некоторые семьи продолжали проводить там лето, и в воображении людей существовала некая предубежденность относительно “Старого села”, по которому тосковало старшее поколение, не привыкшее ещё к новому положению дел, к мирной жизни без набегов клефтов, пиратов и турецкой армады; переселение в новый город не казалось окончательным, и оставалась надежда, что люди поспешат снова вернуться к старому, “обжитому”. Но, хотя они всё время вспоминали про Крепость и о Крепости грезили, дома в новом поселении строить не переставали — в тысячный раз доказывая, что люди обычно думают одно, а делают совершенно другое, и что подражают они друг другу бессознательно.

Итак, через две недели после помолвки была сыграна свадьба. Того потребовала свекровь. Ей не нравилось, по её словам, что невенчаный жених ошивается в её доме, тем более что расхрабрился он уже давно, на правах работника и приёмного сына её супруга. И золовка, пожилая вдова, растившая сына-подростка, также работавшего на верфи, да ещё малолетних сына с дочерью, приняла в свой дом молодую чету. Затем, спустя год, народилось первое дитя, Стафис, следом Дельхаро, потом Ялис, за ним Михалис, далее Амерса, за нею Митракис, и последнюю Криньо. В первые годы казалось, что в семье царит мир. Потом, когда двое старших детей невестки начали подрастать и уже в достаточной мере выросли младшие отпрыски золовки, в доме разразилась война. Тогда Франкоянну, с возрастом и опытом изрядно помудревшая, сподобилась, как она скромно говорила, благодаря своим ловкости и бережливости приобрести собственный домик. В первый год смогла она построить лишь четыре глинобитных стены, низких и тонких, и перекрыть их кровлею; на следующий год ей удалось на три четверти “обшить” дом, то есть соорудить в нём подобие второго этажа из разнообразных досок, неоднородных, ветхих и новых, и, не теряя времени, торопясь “ослободиться” от самодурства золовки, которая состарилась к тому времени и стала вести себя странно, она собрала пожитки и переселилась, вместе с

супругом и детьми, в свой “угол”, в своё “гнездо”, в свой “закут”. В тот день, как сама она рассказывала, она испытала величайшую радость за всю свою “жисть”.

Всё это вспоминала и вместе с тем переживала заново Франкоянну в ту длинную и бессонную январскую ночь, пока снаружи раздавались порывы северного ветра, — воющего, ударяющего о черепицы, заставляющего окна скрипеть, — а сама она бодрствовала у люльки маленькой внучки. Шёл третий час пополуночи, и снова пропел петух. Дитя, которое незадолго до того немного успокоилось, вновь начало мучительно кашлять. В мир оно явилось уже хворым, и, вдобавок, похоже было, что в третий день оно простыло, на “купалах”, когда его искупали в корыте, так что к нему пристал нехороший кашель. Франкоянну уже несколько дней жадно надеялась увидеть у маленького хилого создания признаки судорог — тогда она знала бы, что оно не выживет, — но, к счастью, ничего такого она не наблюдала. “Будет мучаться и нас мучать”, — прошептала старуха неслышимо, про себя.

В это самое мгновение Франкоянну открыла сомкнутые бодрствующие глаза и покачала люльку. Одновременно она решила дать больному младенцу привычного жидкого снадобья.

— Кто кашляет? — раздался голос из-за перегородки.

Старуха не ответила. Была субботняя ночь, и зять переусердствовал с ракией перед обедом; после обеда выпил он и большой стакан вина на мезге, чтобы отдохнуть от работы за всю неделю. Итак, Дадис выпил немало, и потому разговаривал во сне, или, вернее сказать, бредил.

Дитя не открывало рот, чтобы выпить капли жидкости, но лизнуло её язычком в приступе кашля, очень болезненно усилившегося.

— Молчок!.. — снова сказал Констандис, отец младенца, в сне.

— Разбил батька горшок!.. — добавила с ехидством Франкоянну.

Роженица встrepенулась во сне, услышав, быть может, кашель ребёнка, а может быть, и странный краткий разговор, состоявшийся между спящим за деревянной перегородкою и бодрствующей.

— Что опять, матушка? — сказала, приподнявшись, Дельхаро. — Дитяте плохо?

Старуха непонятно ухмыльнулась в жутковатом свете маленькой лампадки.

— Да что ты говоришь, доча!

Это “да что ты говоришь” было сказано с очень необычным оттенком в голосе. Впрочем, то был не первый раз, когда молодая мать слышала такие слова от своей родительницы. Она помнила, что и прежде бабка в беседах с женщинами и старухами своей округи выражала, с многозначительным покачиванием головою, — когда речь заходила о переизбытке молодых девушек, о нужде, о чужбине, о непомерных требованиях женихов, о страданиях, кои должна была перенести христианка, чтобы взрастить и устроить “слабый пол”, сиречь женский, — выражала, стало быть, подобные чувства. Более того, когда мать слышала о болезнях маленьких девочек, бывало, что, покачивая головою, она говорила:

— Да что ты говоришь, соседка!.. Ну, “мёртвым покой, а живым забота”. — Она имела обыкновение очень часто изъясняться пословицами, и весьма выразительными. В другой раз люди слышали, как она утверждала, что рожать много дочерей не имеет толку и что лучше всего никому не жениться. Обычным же её пожеланием маленьким девочкам было “Лучше б и не выжили!.. Не росли б дальше!”

А однажды дошла она в этих разговорах до того, что заявила:

— Чего вам сказать!.. Так вот и хочется, едва родятся, да придушить бы!..

Сказать она это сказала, но, конечно же, не была способна так поступить...

Она и сама в это не верила.

III

Так прошло много ночей со дня родов Дельхаро Трахилены. После крестин, — когда младенца нарекли Хадулой, именем бабки, которое заставляло ту морщиться и шептать “Ну да, лишь бы имя не забылось!..” — старуха тоже провела бессонную ночь, хотя дитя, казалось, чувствовало себя лучше. Впрочем, бессонница была в природе и привычке Франкоянну, размышлявшей о тысячах вещей и оттого тяжело засыпавшей. Думы и воспоминания, тёмные картины прошлого, накатывали друг за другом, как волны, в её сознании, пред глазами её души.

Итак, Хадула выносила стольких детей и построила маленький домик, дабы в нём поселиться. По мере того, как семья увеличивалась, усиливалась и “грызня”. Да, Янну приобрела крохотное жилище на свои собственные сбережения, а вовсе не на остатки денег супруга. Мастер Яннис, он же Колпак, он же Расчёт, и впрямь не мог подсчитать ни того, сколько дней он отработал, ни сколько получится, если умножить четыре, пять или шесть рабочих смен на одну драхму семьдесят пять лепт, или одну драхму и восемьдесят — именно столько зарабатывал он как плотник третьего разряда. Когда он, работая конопатчиком, получал две драхмы и тридцать пять лепт или две сорок, то всё равно не мог их подсчитать.

Нравилось ему только пропивать их, почти без остатка, по воскресеньям. К счастью, супруга приняла меры и стала отбирать у него деньги в субботу вечером. Иногда она получала их самолично у начальника артели — не без ссор и

сопротивления, потому как начальник не хотел отдавать их ей, предпочитая иметь дело непосредственно с мастером Яннисом, у которого он, конечно же, удерживал, как и у всех остальных, десять или пятнадцать лепт на срочные расходы, говоря: “У меня ж дочери, братец, у меня ж дочери!” Но куда ему было обмануть Франкоянну! Она давала ему единственный разумный и приличествующий ответ: “У тебя одного, что ль, дочери? А, мастер? У остального народа нету?”

Если же ей не удавалось получить деньги от старшего корабельщика, для Янну было “проще пареной репы” забрать их из рук супруга, предварительно позаботившись о том, чтобы его “умаслить” и привести в подходящее расположение духа. Или, наконец, она укладывала его спать, полупьяного, субботнею ночью, и вытаскивала деньги из его одежды. Лишь сорок или пятьдесят лепт она давала ему в воскресенье утром “на расходы”.

Стало быть, она построила маленький домик на свои личные сбережения; но какой была основа её маленького капитала?.. В тот час, бессонною ночью, она впервые исповедовалась в этом самой себе. Никогда она не рассказывала об этом даже духовнику, которому, так или иначе, признавалась лишь в мелочах — в повседневных грешках, о которых он всё знал ещё до того, как она начинала говорить: в злоязычии, гневе, бабьих проклятиях и так далее. Не сознавалась она и матери, пока та была жива, — впрочем, то был единственный человек, что-то подозревавший и знавший безо всяких признаний. Да, действительно: она готовилась и даже приняла решение всё рассказать матери в её последние часы. Но, к сожалению, случилось так, что перед смертью старуха онемела и оглохла, потеряла чувства и сделалась “что полено”, как описывала это состояние её дочь, и возможности сознаться в прегрешении так и не предоставилось.

Разумеется, она никогда не говорила об этом ни отцу, ни супругу. Вот что это была за тайна.

Перед свадьбой Хадула начала понемножечку подворовывать отцовские деньги, по несколько парá, по

полгроша. Настолько помалу, что отец почти не замечал этого и ничего не заподозрил, кроме двух случаев, когда он умозаключил, что сам допустил ошибку, пересчитывая свою маленькую казну. Казну эту он хранил в тайнике, который давно уже обнаружила старуха, а спустя годы и дочь. Тогда Хадула на время прекратила кражи, чтобы не навести отца на подозрения. Позже она вновь стала воровать, уже поболее, но в сравнении с воровством её матери то была “капля в море”.

Та воровала много, причём последовательно и изобретательно. Большую часть крала она из доходов от других предприятий, коими в значительной степени сама и распоряжалась, — таких, как продажа вина и масла, произведённых в семейных имениях, — и немного, почти столько же, сколько и дочь, из ежедневного заработка старика. С годами, когда дела пошли в гору и старый Стафис стал небольшим, но начальником, — он сам ладил кайки и баркасы, взяв в помощники сына и пасынка, во дворе своего дома, — старуха смогла немало украсть и из прибыли, приносимой его корабельным мастерством.

Напоследок, за несколько месяцев до свадьбы, Хадула сумела обнаружить тайник, где хранила узел с деньгами её мать. В одной из ниш подклета, среди до половины наполненных корчаг и пустых бочонков, лежал длинный и широкий лоскут от чёрного платка, в котором старуха завязала, крепко-накрепко, “что собачью привязь”, сто семьдесят с чем-то серебряных талеров: те — пиастры с колоннами, другие — “императрицы”, какие-то — турецкие, и все украденные из заработка старика и доходов имений. Дочь, в радостном изумлении и страшно волнуясь, пересчитала талеры, на их “собачьей” привязи, а затем снова положила их в нишу, не дерзнув взять ни единого.

Но накануне свадьбы, вечером, когда уже темнело, — увидевши упорное нежелание родителей снабдить её достаточным приданым, увидевши бессердечие своей матери, — Хадула дождалась, пока старуха выйдет ненадолго из дома по какому-то поручению, и с замиранием сердца тайком спустилась в подклет; там она разыскала узел, как собачья

привязь затянутый, и развязала его. На сей раз ей показалось, что монет убавилось. Пересчитывать их не было времени. Быть может, старуха взяла несколько талеров и растратила их на неизвестные нужды. В голове её мелькнула мысль забрать узел целиком, как есть, вместе с лоскутом старого материнского платка, но она побоялась; вначале взяла она лишь восемь или девять талеров — столько, чтобы, по её мнению, пропажа не создавала большой разницы в объёме и не была немедленно замечена, — и начала завязывать узел. Затем она вновь открыла его, достала ещё пять или шесть монет — итого, пятнадцать. И после того опять: завязывая узел, она попыталась было сызнова развязать его и вынуть ещё две или три монеты. В то мгновение снаружи раздались шаги её матери. Она поспешно затянула узел и убрала его на место.

Спустя несколько дней после свадьбы старуха обнаружила кражу. Но говорить об этом дочери она не хотела. Ей хватало удовлетворения, что та не унесла с собою всё. “Опростофилилась!” — процедила она сквозь зубы.

Эту сумму, которую Хадула наворовала в разные времена у своих родителей, насчитывавшую примерно четыреста грошей, монет той эпохи, она долгие годы тщательно прятала. Но для того, чтобы построить дом, она приумножила её своими собственными стараниями. Конечно, была она сноровиста и трудолюбива. Сколько ей позволяла забота о друг за другом нарождавшихся детях, она работала в чужих домах. Кроме того, в маленьких городках живут “не знатоки, а на все руки мастаки”, и, подобно тому, как провинциальный бакалейщик оказывается одновременно и галантерейщиком, и аптекарем, а заодно и ростовщиком, так и хорошая ткачиха, каковой была Франкоянну, никогда не смущалась быть вместе с тем и повитухой, и лжецелительницей, а то и заниматься другими ремёслами, — достаточно было иметь хватку. А у Франкоянну хватки было поболее, чем у всех прочих женщин.

Она лечила травами, варила мази на воске, делала притирания, снимала порчу, готовила снадобья для больных, для хлоротичных и малокровных девиц, для беременных и для родильниц, и для страдающих от женских болей. С корзинкою

на локте левой руки, в сопровождении двух младших детей, восьмилетнего Димитракиса и Криньо, шестилетней, уходила она в поля, подымалась в горы, обходила ущелья, долины и овраги в поисках трав, какие были ей известны — морского лука, дряквы, змеиного щавеля и разных других, — срезала их или вырывала с корнем, наполняла свою корзинку и вечером возвращалась домой.

Из этих трав изготавливала она различные зелья, которые назначала под видом испытанных лекарств от хронических болей в груди, в желудке, в кишечнике и так далее. С помощью всех этих средств, мало зарабатывающая, но бережливая, она и сумела свить своё маленькое гнездо. Но птенчики начали уже вылетать, отправляться на чужбину!

Как раз в ту пору её старший сын, уже двадцатилетний, Стафарос, уехал в Америку, и, отправив одно или пару писем, замолчал, так что больше от него не было ни слуху, ни духу. Через три года повзрослел второй сын, Ялис, и тоже отчалил.

Оба они ещё в детские годы попробовали заниматься ремеслом отца, но ни один, ни другой не преуспели в нём и не остались им довольны. Ялис, заботливый сын и брат, написал матери из Марсея, куда отправился на каком-то корабле вместе с земляками, что, дескать, он тоже решил поехать в Америку и разведать, как дела у старшего брата: вдруг удастся его разыскать. Но уж сколько лет прошло с того времени, а ни от кого из них не было вестей.

По этому поводу мать их вспомнила народную сказку, одну из остроумнейших, где рассказывается о разлитом мёде, к которому прилипли по очереди старший сын старухи, посланный собрать и принести тот мёд, затем средний сын, которого послали на помощь брату, затем младший, посланный привести домой их обоих, и, напоследок, старик, пошедший разузнать, что случилось с его сыновьями; в конце концов, и сама старуха решила сходить посмотреть, но издалека — ибо, будучи старухой, она обладала немалой хитростью, — что случилось с её стариком и с детьми и почему они не возвратились обратно, выполнив её “поручение”, и

только она одна убереглась и не прилипла. Тогда, повернувшись к прилипшей четвёрке, она сказала: “А! Вот он, ваш мёд? А меня не проймёт!”

В то время как Стафарос и Ялис уехали в Америку и съели там лотос, или выпили Лету, Дельхаро, первая дочь, старшая после отправившегося на чужбину брата, всё росла и росла. И Амерса, родившаяся почти на четыре года позже сестры, тоже росла, не уступая Дельхаро, и всё “вытягивалась”, и становилась мужеподобной, смуглой и озорной, так что соседки прозвали её “бой-девкой”. И эта кроха, Кринаки, которая, увы, не былподобна крину¹ цветом кожи, — хоть и была от рождения хилой, а уже обнаруживала признаки взросления.

“Как же быстро они растут, Господи!” — думала порою Франкоянну. Что за сад, что за луг, что за весна порождает сие растение! И как оно распускается, как цветёт, как трепещет листвою и разрастается! И все эти побеги, все росточки, станут однажды зарослями, кустарниками, садами? А далее что же будет? А ведь каждая семья в округе, в квартале, в городе растила двух или трёх дочерей. У некоторых было и по четыре дочери, а у кого-то все пять. У одной матери было шесть дочерей и ни одного сына, а у другой семь и один сын, который, похоже, обречён был на неприкаянность.

Итак, все эти родители, все семейные четы, все вдовы должны были непременно и любую ценою выдать замуж своих дочерей — хоть бы их было и пять, хоть бы и шесть, а хоть бы и семь! И всем отписать приданое. Каждая нищая семья, каждая овдовевшая мать, всего и имеющая, что две стреммы поля да жалкий домик, истерзанная, работающая на чужих — или помогающая более благополучным семьям в их имениях, со смоквою и шелковицею, собирающая листья или производящая немного шёлка, — или держащая двух-трёх коз да овец, — разругавшаяся со всеми соседями, платящая пеню за всякий мелкий ущерб, обложенная безжалостными налогами, питающаяся ячменным хлебом с солёным потом, — обязана

¹ Лилии (старослав.)

была прежде всего “устроить” всех этих девиц, и дать пять, шесть, а то и семь приданных! О, Господи!

И ладно бы приданое, по островному укладу: “Дом да двор в Котронье, лозы в Аммудье, оливняк в Лехуни, огород в Строфлье”. Но в последние годы, в середине столетия, пришла и другая напасть. “Наличность”, или то, что в Константинополе называется “жѣсточь”: обычай, который, если я не ошибаюсь, осудила Великая Церковь. Теперь каждый обязан был дать приданое и наличными деньгами. Две тысячи, тысячу, пятьсот, безразлично. Иначе пусть сидит и любитесь своими дочерьми. Пусть их на полку поставит. Пусть запрет в шкапу. Пусть сдаст в музей.

IV

Вот на чём прервались воспоминания и рассуждения бессонной старухи. Во второй раз пропел петух. Было, по-видимому, уже более двух часов пополуночи. Январь месяц. Ночь. Северный ветер. Огонь угасал в очаге. Франкоянну чувствовала озноб в спине, и ноги её заледенели. Она намеревалась встать и принести немного дров из прихожей, дабы бросить их в очаг, разжечь огонь заново, но медлила и ощущала слабое оцепенение, первый признак приближающегося сна.

В то мгновение, так несвоевременно, — едва она прикрыла глаза, — снаружи неожиданно стукнули в дверь. Старуха встрепенулась. Она не хотела кричать “кто там”, чтобы не разбудить роженицу, но стряхнула дремоту, уже резко прерванную донѣсшимся до неё стуком двери, тихонько поднялась и вышла из комнаты. Ещё не успев дойти до двери, она услышала осторожный, шепчущий голос:

— Матушка!

Она узнала голос Амерсы, своей второй дочери.

— Что стряслось, дурная?.. Чего тебе приспичило посреди ночи?

И открыла дверь.

— Матушка, — повторила Амерса задыхающимся голосом, — как там девочка? Никак померла?

— Нет... спит; только что затихла, — ответила старуха. — Как тебе в голову такое взбрело?

— Мне во сне привиделось, будто померла, — ещё дрожащим голосом сказала высокая старая дева.

— И коли померла бы, так и чего? — цинично отозвалась старуха. — Что ж ты поднялась-то и прибежала смотреть?

Дом Янну, где она обыкновенно проживала вместе с двумя незамужними дочерьми — поскольку сейчас она на время переехала ночевать подле роженицы — находился в нескольких десятках шагов к северу, на отшибе. Этот же дом, где жила Дельхаро, достался последней в приданое: тот самый старый дом, построенный на сбережения Хадулы и на первый её капитал, который она сколотила благодаря узелку своих приснопамятных родителей. Позже, через несколько лет после свадьбы Дельхаро, её мать сумела обзавестись и вторым гнёздышком, поменьше и поубоже первого, в той же округе. Два или три двора отделяли второй дом от первого.

Итак, из того свежестроенного дома и пришла в столь неурочный час Амерса, не боявшаяся по ночам никакой нечистой силы, потому как была девицею дерзкою и решительною.

— Что ж ты поднялась-то и прибежала смотреть?

— Испугалась во сне, матушка. Мне приснилось, будто девочка померла, а у тебя чёрное пятно на руке.

— Чёрное пятно?..

— Будто ты хотела обрядить дитя в саван. И, пока обряжала, у тебя рука почернела... И будто ты сунула руку в огонь, чтобы чернота прошла.

— Ишь! Ясновидящая! — сказала старая Хадула. — И подскочила, и прибежала в такой час...

— Не могла я успокоиться, матушка.

— А про Криньо не подумала, когда уходила?

— Нет: она же спит.

— А ежели проснётся да увидит, что ты пропала? Каково ей будет? Не закричит разве? С ума сойдёт девка!

Две сестры спали вместе, одни в крохотном доме. Амерса была бесстрашной и внушала уверенность, как мужчина. Отец их умер давным-давно, а братья находились на чужбине.

— Пойду обратно, матушка, — сказала Амерса. — И впрямь, я недомыслила, что может проснуться Криньо в такой час и испугаться, что меня нету.

— Можешь и тут оставаться, — ответила мать. — Лишь бы Криньо вдруг не проснулась: страху натерпится.

Амерса помедлила мгновение.

— Матушка, — сказала она, — а то хочешь, я тут посижу, а ты ступай домой передохнуть, успокоиться?

— Нет, — отвечала старуха, немного подумав. — Ночь-то уж и прошла, почитай. Завтра вечером пойду домой, а ты тут посидишь. Но теперь ступай уже. Доброго утра!

Весь этот разговор происходил в маленькой тесной прихожей, перед комнатёнкою, откуда доносился звучный и переливчатый храп Констандиса. Амерса, прибежавшая

босиком, вышла легчайшим, бесшумным шагом, и её мать заперла дверь изнутри.

Амерса побежала домой бегом. Ей ли бояться нечисти, когда она не боялась своего брата Митроса, известного всем как Морос, Мурос или Мутрос, — этого буяна, третьего сына их матери, которого родительница обычно называла “агарянская собака!” — брата, на три года старшего, чем Амерса, и однажды ударившего её ножом — но та спасла его, не желая выдавать властям, и, конечно же, он и во второй раз попытался бы её зарезать, если бы остался на свободе. К счастью, свои убийственные склонности он развивал в других местах и вовремя был заключён в венецианские казематы старой крепости в Халкиде.

Вот как это случилось. Морос или Мурос от природы был вспыльчивым и несдержанным, хотя и обладал очень находчивым, женским умом, как говорила его мать, — умом, способным плодоносить. Уже в детстве он самостоятельно, ни у кого не учась, наострил множество приятных мелких вещиц: кораблики, маски, статуэтки, куклы и всякое другое. Был он главным буяном в округе, знаменосцем всех озорников, и верховодил надо всеми сорванцами, надо всею уличною босотою. Очень рано он привык к пьянству и беспутству, устраивал вместе со своими малолетними приятелями шумные забавы, шествия, мальчишеские сборища; он затевал драки на улице, швырял камни во встречных стариков и старух, в бедных и немощных. Едва ли мог найтись человек, которому он не досаждал бы.

Как точат лезвия, он подсмотрел у одного бродячего ремесленника. Непрерывно он пробовал изготавливать ножи. У него было большущее точильное колесо во дворе, в тени просторного хаята², а подклет дома он превратил в целую мастерскую — и постоянно точил ножи и “складники” уличных сорванцов; когда же нечего было больше точить, он точил свой

² Хаят (χαυιάτι < турецк. hayat) — в традиционной греческой архитектуре просторный балкон (или, в городских домах, эркер) второго, жилого, этажа.

собственный нож, надеясь сделать его обоюдоострым, хоть изначально нож и не был для того предназначен. Кроме того, он пытался делать пугачи, пистолеты, маленькие пушечки и другие убийственные орудия. Все деньги, что выручал он от продажи кукол, статуэток, масок и не пропивал, тратились на порох. Однажды он и сам попробовал создать похожее вещество. В пасхальные дни, да и спустя ещё две недели, живая душа не решалась пройти через округу, в которой, сея страх, властвовал Мутрос. Выстрелы гремели не переставая.

Однажды в воскресенье Мурос, напившись, учинил на улице чрезмерный беспорядок. Два жандарма, услышав жалобы людей, погнались за ним, дабы поймать его и отправить “в каталажку” или “в казарму”. Но Мурос, весьма увёртливый, ускользнул от них, развернулся, передразнил их издали и, вновь обратившись в бегство, спрятался в недоступном месте — внутри крытого дока, принадлежавшего одному корабельному мастеру, его кузену. Затем, когда двое мужчин прекратили погоню, он осмелел и вышел наружу.

В тот же день Мурос, ещё не протрезвевший в достаточной мере, дошёл до того, что погнался по улице за собственной матерью, угрожая её зарезать. Он возмущался, что старуха украла деньги у него из кармана. Во дворе дома, где та хотела укрыться, он настиг её, схватил за волосы и тащил за собою по улице шагов пятьдесят.

Та подняла крик, и на улицу высыпали соседи. Было время вечерни, незадолго до захода солнца. На голоса соседей примчались и двое жандармов, которые преследовали Муроса перед тем и отнюдь не оставили намерений его поймать: напротив, они были крайне разгневаны на бесчинника. Едва увидев их, Мурос отпустил мать и бросился в бегство. Прятаться он побежал в дом, за неимением лучшего, поскольку оказался “прижат” и не видел другого укрытия, хоть бы и дальнего, но более безопасного.

Старуха поднялась, вся покрытая синяками и пылью, увидела жандармов и начала умолять их.

— Оставьте вы его, ребятаки! Полоумный он, вот и всё. Не убивайте его, ребятаки, камчами!

Последнее сказала она от того, что увидела в руке у одного из разъярённых жандармов жуткую плеть. Двое мужчин не обратили внимания на её мольбы и, продолжив погоню за Моросом, ворвались в его убежище, в подклет дома, где тот устроил свою мастерскую. Туда он и побежал прятаться и едва успел запереть за собою дверь. Но доска была подгнившей, плохо прибитой, а Морос слишком мало любил мирные ремёсла, чтобы позаботиться её починить. Жандармы сломали небольшой засов и вошли внутрь.

Мурос, стремительный, точно кот, через лаз в потолке взобрался на жилой этаж. Лаз находился рядом с северною стеною, северная же стена частично стояла на скале, а скала выдавалась вперёд и создавала опору для быстрых ног Мороса; кроме того, он и сам выбил в разные времена выемки в стене, для одних только своих ступней. Похоже, он часто упражнялся в этом виде гимнастики.

Крышка лаза оказалась закрытой. Морос выбил её одним ударом головы и толчком левого плеча. Затем, как пловец, вынырывающий из волны, он выпрыгнул на пол, с грохотом затворил лаз и, по-видимому, поместил какой-то груз, — быть может, небольшой ларь, — на его крышку.

Жандармы, с ожесточением и бранью, начали обыскивать подклет. Все ножи и пугачи, обнаруженные там, они конфисковали, равно как и точильное колесо, и два маленьких оселка, и собирались уже выйти — быть может, чтобы удалиться, а может быть, и чтобы подняться в жилые покои.

На верхнем этаже Муртос, он же Муртос, был полон ярости, ещё пьян и покрыт пеной. Ноздри его раздувались от бешенства и безумия. Наверху он нашёл только свою сестру Амерсу, тогда семнадцатилетнюю девушку, и та испугалась, увидевши его поднимающимся в лаз столь диким способом. Услышала она и доносившиеся снизу шаги и ругательства двух жандармов. Нагнувшись к маленькой щёлке между двумя

досками плохо набранного пола или к отверстию от сучка, выпавшего, оставившего дыру в одной из половиц, она увидела внизу двух представителей власти в лучах света, проникающих через отворённую ими же дверь подклета.

— Убью, дура!.. Кровь твою буду пить!.. — закричал Муртос, не имея на ком сорвать злобу и оттого без причины угрожая своей сестре.

— Молчи! Молчи! — прошептала Амерса. — Фу-ты, господи! Двое “регулярных”! Внизу, в подклете... Ищут... ищут чего-то... Чего им надо?

Амерса смотрела, как двое жандармов выносят маленькие, грубые предметы вооружения, творения её брата, и даже точильное колесо с оселками. Потом она увидела вдруг, как они остановились в углу, где стоял ткацкий стан её матери, и как один из жандармов взял в руки челнок, или “стрелку”, которую он, вероятно, тоже принял за оружие — недаром же она называется “стрелкой”. Другой пытался оторвать от станка навой — большую цилиндрическую деревяшку, на которую наматывается свежесотканное полотно. Наверное, он никогда в жизни не видывал подобных вещей и решил, что и этот предмет мог бы послужить хорошим оружием.

Амерса, увидев это, издала сдавленный вскрик. Она хотела закричать, чтобы жандармы оставили в покое челнок и навой, но звук задохнулся у неё во рту.

— Молчать, дура! — зарычал Муртос. — Чего удумала? Чего глядишь и регочешь?

Спяну Муртос принял за смех тот нечленораздельный возглас своей сестры.

Через несколько минут два жандарма, бросив последний взгляд на лаз, — который они увидели закрывающимся как раз в тот миг, когда ворвались в подклет, — вышли вон. Амерса приподнялась. Ей почудилось, что она услышала скрип на нижней ступени наружной лестницы, деревянной,

находившейся под большим крытым хаятом. Она побежала к двери.

Она решила, что двое “регулярных”, как их называли, поднимались по лестнице и могли взломать дверь жилых покоев. Нагнувшись к замочной скважине, она пыталась через крохотную дырочку рассмотреть и понять происходящее, потому как единственное окно было затворено и другого способа выглянуть у неё не было.

Мурос, увидев Амерсу убегающей к двери, в хмельном бреду вообразил, что сестра хочет открыть дверь и выдать его жандармам. Тогда, ослеплённый яростью, он вытащил сзади, из-за поясицы, заточенный нож, который имел при себе, и, бросившись на сестру, ударил её в ребро со спины, у правой подмышки.

Ощувив холодное железо, Амерса издала истошный вопль.

Двое жандармов ещё не успели отдалиться: они задержались снаружи перед дверью подклета, чтобы посоветаться, как быть дальше. Услышав этот крик ужаса, они глянули вверх и побежали на помощь.

С грохотом они поднялись по лестнице, ведшей в хаят, и яростно сотрясли дверь.

— Именем закона! Открывайте!

В тот же миг одного из жандармов посетило подозрение, что виновный мог бы скрыться через лаз в потолке подклета. Повернувшись ко второму жандарму, он сказал:

— Смотри в оба, ты! Ещё смоемся через низ, через свес, через козырёк!.. И потом где его споймаешь?

— То исть? — переспросил второй, не сразу поняв.

— То и есть! — настаивал первый... — Делай как сказано!

Второй жандарм, бывший несколько нерасторопным, помчался вниз так быстро, как только мог, чтобы запереть дверь подклета или чтобы встать там и караулить. Но было уж поздно. Мурос к тому времени успел открыть лаз, отодвинув небольшой ларь, который прежде поставил на его крышку, и спрыгнул вниз. Высота превосходила два метра, но Мурос был лёгким, подвижным, а земля внизу была устлана стружками и опилками, и потому он достиг её стоймя и в полной сохранности.

Разогнавшись, как ветер, он оттолкнул жандарма, так что тот тяжело свалился наземь перед наружной лестницею, и умчался прочь, — Муртос, подобный молнии. Побежал он наверх, в гору, в местечко Котронья, к гнездовьям сов. То был скалистый холм, возвышавшийся за домом; его Муртос знал “как свои пять пальцев”. Ещё ни разу никому не удавалось его поймать — ни жандарму, ни кому-либо другому.

Прежде чем прыгнуть в лаз, Муртос неожиданно вспомнил — может быть, потому, что уже протрезвел от всего происходящего, или “просох”, как он сам сказал бы, — стало быть, он вспомнил, что нож, которым он ударил сестру, выпал из его руки и лежал на полу. По-видимому, это случилось от того, что в те мгновения его обуяли раскаяние и страх — и по той же причине он лишь поверхностно коснулся лезвием тела своей сестры.

Когда он осознал, что нужно бежать, и бросился открывать крышку лаза, уже понимая, что жандармы поднимаются на жилой этаж, и не располагая временем для того, чтобы вернуться к двери, нагнуться и подобрать нож, он, готовый прыгнуть вниз, крикнул сестре:

— “Грош”, дура!.. “Грош” заberi и спрячь!

Такое выражение он предпочёл, чтобы жандармы не слышали созвучного “нож”. В ту жуткую минуту, провинившийся и грешный, он взывал к состраданию своей сестры, потому как был в ней уверен. Нож наверняка был

окровавлен, и преследователи увидели бы эту кровь. Прося спрятать улику, он уповал на сокрытие самого преступления.

Между тем Амерса, хотя из раны её уже струилась кровь, увидела, что дверь, сделанная из старых тонких досок, с заржавленными щеколдами и засовами, скоро будет выбита, и, почти теряя сознание, наклонилась и подобрала нож. Затем она проковыляла в угол, где находилась маленькая “темпла”, сиречь кипа сложенных простыней, подушек и тюфяков.

Она спрятала окровавленный нож подо всею этой кучей белья, сама завернулась в ветхое, заплатанное, но чистое одеяло и села сверху на низкую стопку, подминая её ещё больше. Прижав левую руку к подмышке, она попыталась остановить кровотечение. Поразительным образом Амерса не испугалась от вида крови, хотя такая беда приключилась с нею впервые. Всё случившееся казалось ей сном. Она лишь сжимала зубы да изумлялась, отчего до сих пор не испытывает боли. Но через несколько секунд она почувствовала острую резь.

В этот самый момент дверь рухнула внутрь комнаты. Один из жандармов, громко топая, ворвался в покои.

Амерса не подняла головы: она сидела, потупившись, до самого носа закутанная в одеяло.

— Где этот буян? — грозно крикнул жандарм.

Амерса не отвечала.

Военный, не заметивший ни исчезновения Муроса, ни неудачи и падения своего сослуживца, — вероятно, потому, что то мгновение совпало с выламыванием двери, и один грохот заглушался и перекрывался другим, — осмотрел всю прихожую, где сидела Амерса, затем бегом переметнулся в зимнюю спальню, затем в маленькую комнатёнку. Там никого не было. Только лаз был открыт.

Через миг навверх поднялся и его товарищ.

— Смылся?

— Дёру дал через подклет, через низ...

— А ты проворонил?.. Не догнал?

— Он меня треснул... тьфу! Ну и быстёр же!.. Семь миль в час!..

— Ах!.. — произнёс первый жандарм, поднеся согнутый указательный палец правой руки ко рту, точно намеревался укусить его, и яростно тряс головою. — Нам же башку оторвут!

Второй жандарм, пытаясь изобразить строгость, обратился к девушке.

— Эй, ты! Куда твой братец намылился? — сказал он.

Амерса не ответила. Только, быть может, с невольным ехидством беззвучно прошептала, через всю жуткую боль и через всю тревогу, что она испытывала: “Тебе лучше знать.”

— Ты чего там сидишь, дочка? — сказал первый жандарм более миролюбиво. — Он тебя не ударил часом?

Амерса отрицательно покачала головою.

— Зачем он тебя искал? Убить хотел?

— Отчего ты кричала? — встрял второй.

Амерса ответила на вопрос первого жандарма:

— Нет!

— А впрямь, не бил он тебя ножом? — настаивал тот.

Совершенно естественным голосом Амерса воскликнула:

— Чтобы мой родной брат меня бил?!

— Отчего ж ты там сидишь? Что с тобой? Захворала?

— У меня лихорадка.

Амерса не подумала о том, что пол и циновка, должно быть, перепачкались в крови. Солнце давно уже село, и в доме был полумрак. Кроме того, место, куда упал окровавленный нож, находилось сейчас в тени, за одностворчатой дверью, приоткрытой на две трети и касающейся стены, так что двое мужчин не увидели красных пятен.

— Отчего ты кричала? — подолжал первый жандарм.

— Больно было и голова закружилась, — отвечала Амерса.

И немедленно, словно в подтверждение этих слов, она действительно начала терять сознание. Сжав зубы, Амерса издала одно только “Ох!” и упала ничком. Представители власти переглянулись, и первый из них сказал:

— Где её мать?

Точно услышав этот призыв, в комнату вбежала Франкоянну.

— Вот та бабка, которую сын за патлы по улице таскал! — сказал второй жандарм.

И продолжил:

— Не скажешь мне, матушка, где твой сынок?

Франкоянну не ответила и подбежала к Амерсе. Она была умелой врачевательницей и вполне могла позаботиться о своей дочери.

Все эти события часто приходили Амерсе на ум, и пришли снова в долгие ночные часы, между вечерней и утреней, пока она лежала без сна в крохотном доме подле спящей Криньо, своей младшей сестры, а отсутствующая мать её бодрствовала уже не первую ночь в спальне роженицы, в другом доме, принадлежавшем её старшей дочери. Вернувшись к себе после

ночной вылазки, которую Амерса предприняла по указанию сновидения, на правах “ясновидящей”, каковою она и была,— она увидела в слабом свете лампадки, горевшей перед маленьким, старым и почерневшим, образом Богородицы, что младшая сестра, Криньо, по-прежнему спала и, судя по всему, не поднималась с постели. Только в тот миг, когда Амерса выходила из дома, Криньо как будто услышала сквозь сон невнятный слабый шум, тихонько пошевелилась, вздохнула и повернулась на другой бок, не просыпаясь.

Ясновидящая!.. Воистину. Слово, недавно произнесённое её матерью, опять вспомнилось Амерсе, когда она, с третьим криком петухов, возвратилась в дом, к спящей младшей сестре. Неужто и в самом деле была она “ясновидящей”? Она, чьи сны, наваждения и ослышки часто оказывались вещими, что-либо обозначающими или оставляющими странное впечатление. Даже ложь, которую она говорила, непроизвольно сказывалась правдою для неё. Так, к примеру, после удара ножом, нанесённого ей братом, она говорила, отвечая на дотошные вопросы жандарма: “Больно было и голова закружилась!” И, едва промолвив эти слова, упала во взаправдашний обморок, словно некая высшая, демоническая воля захотела скрыть её ложь.

Амерса вновь легла подле сестры, но не заснула. Воспоминания продолжали накатывать, — неудержимые, хотя и не столь мучительные и чернокрылые, как у её матери. И в те долгие часы она не переставала думать о судьбе своего брата Муроса, находившегося теперь в тюрьме в Халкиде.

V

Когда Амерса ушла, Франкоянну, притулившись в углу, между очагом и колыбелью, вновь потеряла сон и вернулась к своим горьким, далёко блуждающим размышлениям. Итак, после того, как уехали в Америку старшие сыновья, а Дельхаро повзрослела, матери необходимо было позаботиться об устройстве дочери, ведь старик Расчёт не преуспевал в этом

занятии. Всем известно, каково приходится матери, вынужденной служить ещё и отцом для своих дочерей, не будучи при том даже вдовою. Сама она должна и выдать замуж, и снабдить приданым своё дитя, стать при нём и свахою, и своднею. Как мужчина, она должна отписать дом, виноградник, поле, оливняк, одолжить наличных денег, пойти к нотариусу, заложить имущество. Как женщина, должна приготовить или где-то раздобыть “сундук”, то есть движимое приданое: простыни, расшитые рубахи, шёлковые платья с парчовыми подолами. Как сваха, должна подыскать жениха, да догнать его, да поймать, да захомотать. И не абы какого жениха!

Такого, как Констандис, который храпел теперь за перегородкой, в боковой комнатёнке: безбородого, неуклюжего, “безобразу”. И чтобы даже у такого нашлись “капризы”, требования, прихоти: чтобы сегодня он хотел то, а завтра сё; чтобы сейчас попросил столько денег, а на следующий день больше; чтобы всё время его “подбивали” другие, жадные или завистники; чтобы отовсюду доносили ему сплетни, поклёпы, “облыжки”, и чтобы он не желал родниться. Чтобы после помолвки поселился он в тёщином доме, чтобы “наладил” внезапно “байстрючонка”. И всё это время “принеси-подай”.

И чтобы этого-то жениха пришлось — спустя немалый срок, прибегая к тысячам ухищрений, с несказанными мученьями — уговаривать пойти уже под венец. И чтобы невеста любовалась собою, надев драгоценный наряд, плод недоедания и лишений, и чтобы у той невесты уже не было талии, каковая могла бы подчеркнуть былую стройность её стана.

И чтобы через три месяца после свадьбы народилась дочь, — а затем, спустя три года, сын, — и ещё через два года снова дочь, вот этот младенец, по чьей милости провела столько бессонных ночей старая бабка.

И чтобы из-за этих дочерей пришлось их матери вынести столько же страданий — и дважды столько, и трижды столько, — сколько её собственной матушке пришлось вынести ради неё.

Бедная бой-девка, Амерса, осталась незамужнею (Бог её благослови!) Пожила вволю. Вот поистине благоразумная девушка. Что обрела бы она от этих мытарств? Она и не завидовала вовсе! Чему тут завидовать? Она смотрела на свою старшую сестрицу и только жалела её — сердце кровью обливалось.

Что же до самой маленькой, до Криньо, — ах, если бы и её просветил Господь! Как бы то ни было, ради её замужества мать не намерена — не может больше, сил нет, — терпеть и тысячной доли тех мучений, что стерпела ради замужества её старшей сестры. Но скажите мне: всем этим девочкам было на самом деле нужно рождаться? А коли уж родились, стоит ли их возвращать?.. “Не стоит”, — говорила Франкоянну. — “Мёртвым покой, а живым забота”. “Лучше б и не выжили!.. Не росли б дальше!” “Да что ты говоришь, соседка!”

Великое и священное облегчение испытывала многострадальная женщина, когда ей случалось двигаться в маленьком шествии следом за батюшкой, идущим во главе, пред Крестом, и нести в собственных руках, — ведь она была сердобольною и участливой, — крохотный гробик в виде колыбели. Так препровождала она дочку соседки или дальней родственницы в могилу. Ей непонятно было, что бормотал священник, пережёвывая слова: “Ничтоже есть матере сострадательншее, ничтоже есть отца умиленшее... Многажды бо пред гробом сосцы бият и глаголют: о сыне мой и чадо сладчайшее, не слышиши ли матере твоя, что вещает? Се и чрево носившее тя: чесо ради не глаголеши, яко глаголал еси нам? Но тако молчиши глаголати с нами: аллилуиа!” И снова: “О чадо, кто не восплачет, зря твое ясное лице увядаемо, еже прежде яко крин красный?”

Но превеликая радость охватывала её, когда небольшая процессия, после десятиминутного пути, достигала погоста Мнимурья. Прекрасная местность, вечная весна, цветущая зелень, разнотравье, благоухание сада. Вот же он, вертоград усопших! О!.. Рай уже в мире сём отворял ворота, дабы принять маленькое безгрешное создание, коему посчастливилось избавить родителей от мучений. Ликуйте, ангелы, порхающие

вокруг на бело-золотых крылышках, и вы, о души Святых, приветствуйте его!

Возвратившись в дом скорбящей семьи, дабы в утешение скоротать с нею вечер, старая Хадула не находила ни единого утешительного слова, — вся она сияла от радости и благословляла невинное дитя и его родителей. И печаль была веселием, и смерть была жизнью, и из одного выходило другое.

Да! Вот: никакая вещь не есть в точности то, что кажется; она — другое, а вернее, противоположное.

Раз печаль — это веселие, а смерть — воскресение и жизнь, то и невзгода — это счастье, а болезнь — здоровье. И тогда все эти напасти, что косят неокрепших младенцев, столь дурные на первый взгляд, — оспа, скарлатина, дифтерит и прочие хвори — не суть ли касания и трепеты крыл маленьких ангелов, которые радуются на небесах, привечая детские души? А мы, люди, в слепоте своей считаем их несчастьями, бедами, чем-то злым.

И теряют рассудок измученные родители, и отдают столько денег за полушарлатанов-врачей и грошовые лекарства, чтобы спасти своё дитя. Они не подозревают даже, что поистине губят чадо, думая, будто “спасают” его. Сам Христос говорил, как объяснял Франкоянну её духовник, что любящий душу свою потеряет её, а ненавидящий душу свою сохранит её на жизнь вечную.

Разве и воистину не стоило бы, — если бы люди не были слепы, — помогать напастям, бьющим ангельскими крылами, вместо того, чтобы пытаться их изгнать? Но вот: ангелы не лицемерят и не продаются, и уносят в Рай мальчиков и девочек без разбора. Чаще, пожалуй, мальчики — любимчики, единственные сыновья — умирают преждевременно. У девчонок же девять жизней, полагала старуха. Они не так-то просто заболевают и умирают редко.

Разве не должны мы, как честные христиане, помогать ангелам в их труде? О, сколько мальчиков, даже и барчуков,

безвременно гибнет. Но и господские дочки умирают чаще — хотя и столь редко в сравнении с другим полом — нежели бесчисленные девки простонародья. Лишь девицам этого сословья дано девять жизней! Похоже, они намеренно множатся, чтобы их родители испытали мучения ада уже в мире сём. А!.. Едва задумаешься об этом, рассудок “мутится”!

В это мгновенье внучка начала кашлять и хныкать. Старуха, размышлявшая обо всём вышесказанном, хотя и была распалена волнами воспоминаний, почувствовала внезапное головокружение, словно от качки и морской болезни своего житья, и начала впадать в оцепенение, безудержно засыпая.

Крохотная девочка кашляла, плакала и подымала столько шума, “сколько взрослый человек”. Бабка встрепенулась, повернувшись на другой бок и вновь потеряла сон.

Роженица глубоко спала и даже не слышала кашля и плача. Старуха открыла суровые глаза и произвела жест нетерпения и угрозы.

— Ну! Ты заткнёшься? — сказала она.

Рассудок Франкоянну на самом деле начал “мутиться”. Она “ополоумела” в конце концов. Это было неудивительно после таких рассуждений. Она нагнулась над люлькой. Засунула два длинных, жёстких пальца в рот младенца, чтобы его “заткнуть”.

Она знала, что “затыкать” совсем маленьких детей не то чтобы принято. Но теперь она “ополоумела”. Она не понимала до конца, что делала, и не признавалась самой себе в том, что хотела сделать.

Итак, она ещё долго “затыкала” ребёнка; затем, вынув пальцы из маленького рта, дыхание которого прервалось, она обхватила шею младенца и сжала её на несколько мгновений. Этого хватило.

Франкоянну не вспомнила в этот момент о сновидении Амеры, которое та, пришедшая час назад, между вторым и третьим криком петухов, пересказала своей матери.

Рассудок её “помутился”!

VI

После того как Амерса, по возвращении из дома роженицы, потеряла всякое желание спать и легла, бессонная, подле своей младшей сестры, она долго ещё продолжала раздумывать о брате, несчастном и виноватом. С тех пор, после прыжка в лаз и бегства, она ни разу его не видала. Жандармы разыскивали его дни напролёт, но так и не нашли.

Тогда, сразу после расспросов жандармов, на которые Амерса ответила так, как ответила, в дом вбежала мать и нашла дочь завернутой в одеяло, упавшей ничком и совсем бледной от обморока, вызванного кровопотерей.

На вопрос одного из жандармов, того самого, которого оттолкнул Мурос, убегая, — “матушка, где твой сынок?” — Франкоянну не дала ответа. Но другой, выглядевший более человечным, сказал ей спокойным голосом:

— Посмотри, сударыня, что там с твоей дочкой. А то она говорит, что хворает.

— Хворает! Как ей не хворать! — с готовностью отвечала Франкоянну. — Напужалась от выходок этого ловкача, сынка моего... Но вы, ребята, смотрите мне!.. Коли поймаете, не мучьте его сильно...

— Ты не видела часом, как он убежал? В какую сторону побежал?

— Издалека увидела!.. Бёг к Пигадье, за Алонью...

Франкоянну солгала дважды. Муроса она не видела, но была уверена, что побежал он в направлении прямо противоположном тому, о котором она говорила: к востоку, в

местечко Котронья, располагавшееся за домом выше по склону, где с детских лет он привык охотиться на сов.

Двое мужчин удалились бегом. Один, выбегая, бросил последний подозрительный взгляд назад, через полуоткрытую дверь.

Хадула затворила дверь. Затем она открыла окно.

— Он меня порезал, матушка! — простонала сквозь боль Амерса, почувствовавшая поток воздуха, что ворвался в отворённое окно близ неё, и оправившаяся от обморока.

С этими словами она сбросила одеяло, так что стала видна окровавленная рубаха, которую она носила поверх сорочки.

— Ой! Ах! Душегубец!.. Убей его Бог, земля его проглотит! — разразилась проклятьями мать, увидев кровь.

И она начала осматривать дочь, пытаться остановить кровь и перевязать рану. Сняв с Амерсы рубаху, она оттянула вниз рукав сорочки, так что показалось правое плечо Амерсы — худое и бледноватое, но жилистое и крепкое.

Рана была, по-видимому, поверхностной, но, тем не менее, кровь из неё лилась. Хадула использовала все кровоостанавливающие средства, что знала, — быть может, “крававик”³, если таковой у неё имелся, — и наложила повязку. Вскоре кровь перестала.

Амерса немного ослабла, но была она сильной, храброй и ничего не боялась. В действительности, через несколько дней, благодаря стараниям её матери, рана зажила.

Франкоянну ни за что не стала бы звать врача. Она не хотела, чтобы людям стало известно, как её сын ударил ножом собственную сестру. Перед всеми расспрашивавшими её доброжелательницами из соседок, иногда с деланным возмущением, а иногда с искусственным смехом она отрицала,

³ Гематит

что Мурос ранил её дочь. Прежде всего ей не терпелось узнать, спасся ли Михалис от лап жандармов, а дальше ступал бы он на все четыре стороны!

На самом деле, спустя несколько дней Франкоянну убедилась, что сын её тайком отплыл ночью на некоем корабле, куда нанялся матросом, и покинул остров. Секретарь портового управления, человек уступчивый и доброжелательный, не побоялся зачислить его в команду. Мурос был тогда двадцатилетним; Амерсе же было всего лишь семнадцать лет.

Прошло время, прежде чем семья получила известия о беглеце. В конце концов, через год, а то и более, донеслись неопределённые слухи о том, что Морос совершил убийство на судне, во время плавания. Его сёстры, едва услышав это, сказали людям, что ничего не знают, и от всей души желали, чтобы слухи оказались ложными. Но мать внутренне верила в правдивость известия.

Миновало несколько дней, и она получила письмо с почтовым штампом Халкиды. То Михалис писал ей из тюрьмы этого города. Прибегая к риторическому протистерону⁴, первым делом он описывал свои мучения и страдания в казематах венецианской крепости. Затем, сердечно сокрушаясь, но в двусмысленных фразах и как бы между строк, он признавался, что, может быть, и впрямь убил человека, — старого Портайтиса, судового боцмана, — но сам не понимая толком, что делает, и никак того не желая. (И правда, он, видимо, не хотел его убивать.) Чёрт толкнул под руку, сам же он ни в чём не повинен, убийство произошло в запале ссоры. Нашли его “в состоянии душевного волнения”. Вдобавок, выяснилось, что нож “принадлежал потерпевшему”. Вероятно, он сорвал, — но не помнил, как, — нож с пояса жертвы. Сам он полагал, что выхватил нож прямо из руки.

⁴ Протістерон, или йстерон-прóтерон, — риторический приём, когда первым упоминается то, что по логике и хронологии должно быть упомянуто последним.

Далее он вновь переходил к своим бедствиям, кои сносил в заключении вот уже два месяца. Затем взывал к милосердию своей матери и заклинал её “подняться и” — ни много ни мало — “пойти сыскать Портайтену”, вдову убитого, и его дочь, и слёзно взмолиться к ним, “всеми правдами и неправдами” убедить их, дабы они сами попросили оправдания убийце!

«Поди, матушка, сядь на корабль, плыви в Платану, упроси её, Портайтену, а равно также и дочку ейную, Кариклию⁵, пусть за меня скажут, чтобы я вышел невинный, и я им как сын родной буду, и Кариклию возьму в жёны без приданого, и заживём все славно, дружно... Ужо тогда все увидят, как я любить её буду, Кариклию, и как буду за тещей ходить, работать буду, как вол, буду кормить их от пуза, всем самым лучшим, тому как я толковый и могу заработать денег...» Завершая письмо, убийца в третий раз описывал свои страдания и обещал, что, как только выйдет из тюрьмы, привезёт множество гостинцев и нарядов в приданое своим сестрицам, даже игрушки и куклы для маленьких дочурок старшей сестры, Дельхаро.

Итак, нет никакой странности в том, что Франкоянну не стала медлить. Она одолжила немного денег, оставив в залог всё своё серебро, села на корабль и отправилась на противоположный остров, в село Платану, дабы найти там Портайтену. Странность, однако же, состояла в том, что своим страстным красноречием, своим женским многословием, тысячами уловок, какие она только знала, — а было тогда Франкоянну пятьдесят пять лет, но выглядела она цветущею женщиною со свежими чертами лица, — она смогла-таки убедить старуху, вдову убитого (заметьте, что вдова с дочерью дали приют в своём доме матери убийцы), — стало быть, смогла, самостоятельно оплативши дорожные расходы, убедить вдову отправиться вместе с нею в Халкиду, дабы предстать там сообща перед прокурором, судьёй и присяжными, прося о помиловании или оправдании подсудимого. Что же касается дочери, “Кариклии”, то она заявила, что не ищет мести, потому как “батюшку не вернёшь”,

⁵ Дочь боцмана зовут Хариклия. В письме сына полно ошибок и просторечий.

вот только убийцу себе в мужья она не возьмёт никогда: лучше оставаться незамужнею до скончания века.

Они двинулись в путь вместе, две старухи, и провели в Халкиде три месяца, живя в хибарке, в турецком доме близ еврейского квартала, у Верхних ворот крепости. И каждый день, в утренние часы, когда выводили заключённых, Хадула шла к тюрьме, обыкновенно в сопровождении Портаитены, которая, однако же, оставалась сидеть напротив темницы и ждала, не желая видеть лица убийцы. Проходя мимо большого и неказистого старого храма святой Параскевы, они осеняли себя крестным знаменьем; мать несла подсудимому бубликов, смоквы, сардин и табаку для трубки. А в глубоком кармане платья была у неё запрятана маленькая скляночка ракии или рому, в утешение узнику.

Но дважды или трижды в неделю они выходили за Верхние ворота и разглядывали висящие там на тёмном столбе “берцо греческого гиганта” и “его башмак” огромного размера, заранее готовясь к тому, как будут рассказывать о диковине внучатам, возвратившись с Богом в родные места. Потом они направлялись в квартал Сувала, или в сторону церкви святого Димитрия, и посещали прокурора, который приказывал писарю их прогнать, и судей, которые порою соглашались немного посмеяться над ними.

Наконец, когда был назначен суд, они решили поговорить с присяжными, которые уже прибыли: одни, в фустанеллах, из горных сёл, другие, в портках, с островов и с побережий. Франкоянну сулила всем тысячи разных подарков, и впрямь была бы способна их подарить, когда бы имела: мускатные вина, отменное “янтарное” масло, омарьи хвосты, солёную кефаль, икру, вяленых осьминогов, отборную смокву и всё, что только мог произвести её остров.

Одного из присяжных, человека желтушного и кашлявшего, явно страдавшего от болезни, она пообещала исцелить каким-то известным ей снадобьем. Ничего из этого не было исполнено, и убийцу приговорили к двадцати годам

заклучения в кандалах. Все замыслы провалились, а вместе с ними и свойство между матерью убийцы и вдовой убитого.

Теперь нужно было возвращаться на родину, но скудные средства их уже иссякли — и те, что были у них с собою, и те, что успела послать Амерса, работавшая в чужих домах и ткавшая. Франкоянну тщётно просила на кораблях, готовившихся отплыть в сторону Малийского залива и Истиеи, чтобы на борт взяли хотя бы Портаитену, как более старую и слабую, — на свой счёт у неё был план, — и, увидев, что разные капитаны требовали не только оплатить путь, но и снабдить пассажирку пищей, — а если бы они высадили её в Стилиде или в Ореях, то куда ей было бы найти там судно до дому, — поделилась своим замыслом с Портаитеной.

— Я-то, — сказала она, — могу и посуху дойти, пешком, отсюда до Святой Анны: говорят, это два дня пути, а там найдём наш быстроход; капитан Пецерелос, почтальон, нас увидит и возьмёт с собой. А о расходах дорожных я позабочусь, буду травы собирать, коренья, зелень, и коли встретится какая христьянка с больным дитятей иль мужем, так я ей познахарю, помогу её родному человеку, вот и обяжу её заплатить. Ты-то сможешь? Держат тебя ноги?

— Чего ж поделать? Могу, как не мочь, — ответила Портаитена. — Лучше сообща пойти, как приехали.

И они пустились в дорогу. Хадула делала всё так, как сказала; разве что они подолее задержались в пути из-за медлительности Портаитены. И замысел удался, как она и надеялась. Когда, спустя неделю, она возвратилась на родину, у неё ещё оставалась часть выручки от предприятия. Из того, что давали ей в награду за труды, она привезла домой мешок зерна, почти целую оку⁶ сыру, двух курей, шерстяное покрывало, которое ей подарили, и несколько драхм наличных денег. Из этих средств она щедро расплатилась и за Портаитену, дабы и та отправилась к родному очагу.

⁶ Мера веса, примерно 1,3 кг.

Амерса хорошо помнила все эти события, потому как мать не переставала рассказывать о них. С тех пор миновало уж двенадцать лет, брат её по-прежнему находился в тюрьме, отец давным-давно умер, Стафарос и Ялис не возвратились из Америки, маленький Йоргакис и тот уплыл в большое плаванье, выросла и Криньо, Дельхаро снова родила дочь, а сама она, Амерса, осталась старою девою.

VII

Полная тишина и спокойствие воцарились в тёмной комнате после последнего кашля и хныканья внучки, прервавшихся столь внезапно. Франкоянну склонила лицо, подперла лоб руками и перестала думать. Ей казалось, что она не жила более. Даже дыханья её не было слышно. Всякий шум прекратился. Даже огонь не гудел в очаге, даже треска не было слышно, и наполовину сгоревший фитиль светильника печально мерцал. Маленькая лампадка пред иконостасом давно уж погасла, и лики святых были теперь не видны.

Внезапно роженица вздрогнула и пробудилась среди совершенного покоя.

— Что такое, матушка? — сказала она.

Мать сурово и как будто сквозь морок посмотрела на неё в мерцанье светильника.

— Что такое! — ответила она. — Ничего. Проснулась?

— Мне слышалось, ты что-то сказала... Будто позвала меня во сне.

— Я?.. Нет. Померещилось.

— Который час, матушка?

— Который час? Почём я знаю?.. Кочет столько раз уже прокричал.

— А ты не спала, матушка?

— Вволю наспалась... бока отлежала, — сказала Франкоянну, не сомкнувшая глаз. — Рассветёт уж скоро.

Роженица зевнула и перекрестила рот. Одновременно с этим она подняла взгляд к маленькому иконостасу, находившемуся напротив неё.

— Лампадка загасла, матушка: ты что ж её не зажгла?

— Не уследила, доча, — промолвила старуха, — спала крепко.

— А дитё-то спит покойно, я погляжу. С чего бы это?

— Упокоилось теперь, — отвечала старуха.

— А у меня титька болит, — сказала роженица, — молока много стало. Лучше б дитё проснулось, я б его покормила.

— Ну! Чего поделывать... Найдём тебе где-нибудь дитё... — сказала старуха.

— Ты что говоришь такое, матушка?

Старуха не ответила. Ей хотелось что-то сказать. Но что сказать, она не знала.

— Не почтёшь за труд зажечь лампадку, матушка?

— Коли хошь, так встань и сама зажги: у меня руки не те.

— Что?..

— Болят уж рученьки-то.

— Да ты что? Ты здорова ли, матушка: я до благословенья разве ж могу лампадку зажигать?

В это мгновение, произнеся “болят уж рученьки-то”, старуха впервые вспомнила сновидение Амерысы.

Она не смогла удержаться и с трудом задавила глубокий всхлип, вырвавшийся из её груди.

— Что с тобой, матушка?

И роженица спрыгнула на пол с низкой постели.

— Дитяте худо?

Раздались вопли, рыдания и плач. Мать нашла свою дочку мёртвою в колыбели.

От шума пробудился в соседнем закутке Констандис, вдоволь насладившийся сном.

— Что такое? — крикнул он, протирая глаза. Он зевнул, потянулся, встряхнулся и подбежал к двери комнаты.

— Ну! Чего вы творите?.. Весь народ на ноги подымете... Разве ж можно с вашим визгом соснуть маленько?

Никто не ответил на возмущение Констандиса. Супруга его, давась рыданиями, склонилась над колыбелью. Тёща сидела, сложив руки, сжав зубы, загадочная, с неподвижным взглядом. После первого произвольного всхлипа она не издавала более ни звука.

— Как?.. Дитё померло? Да ну!.. — только и сказал Констандис, стоявший с открытым ртом.

И затем добавил:

— Вот к чему я такие дурные сны видел, ох, лишенько!..

Дельхаро, на миг поднявши голову от колыбели и продолжая рыдать, проговорила:

— Матушка, не принесёшь одёжку дитё переодеть?.. Где Амерса?

Франкоянну промолчала.

— Где Амерса, матушка? — повторила, дотронувшись до локтя матери, Дельхаро.

Франкоянну дёрнулась, как будто её коснулась колючка или хвост ската.

— Амерса где? Дома у нас... — ответила она.

— Разве Амерса сюда не приходила? Мне почудилось, будто я во сне её голос слышала, — сказала роженица.

— Пусть пойдёт позовёт её, — старуха краем глаза указала на зятя.

— Констандис, сходишь, позовёшь Амерсу? — сказала роженица супругу.

— Иду. Гляди ж ты!.. Ох! Беда, лишенько!.. Слава Богу, хоть крестили.

Дадис наклонился к полу в маленькой прихожей, в темноте, пытаясь ощупью отыскать свои старые башмаки и обуться. Поднимая изрядный шум, он ударял разные пары ветхой обуви друг о друга и о деревянные половицы.

— Где мои старые босовики? — спросил он.

Наконец, он надел пару стоптанных женских обуви, которую смог найти: они прикрывали только пальцы его ног да часть плюсны, оставляя всю пятку голой. Затем он вновь поднял шум, пытаясь отворить дверь и не находя в потёмках ни

засова, ни ручки. Открыв же дверь, внезапно воротился обратно.

— Слышишь, Дельхаро, — промолвил он, — Амерсу одну позвать или пусть Криньо придёт тоже? Что скажешь, тёща?

Франкоянну отвечала нетерпеливо:

— Иди уже, чего ты топчешься? Кто придёт, тот и придёт!

Дельхаро тихо плакала, склонившись над люлькой. Дадис, выходя, бросил взгляд на люльку и на свою супругу.

— А! Беда, лишенько!.. То-то мне сны снились!.. — сказал он. — Ну, дела!

И выбежал вон.

VIII

Как-то утром, на Вербной неделе, Франкоянну одна-одинёшенька отправилась в глушь, к Бабкиной пади. Она намеревалась посетить маленький оливняк, доставшийся ей в “наследок” от одной более-менее состоятельной кумы, которая умерла бездетною и которой Хадула оказала в своё время какие-то услуги. Половину того оливняка она отписала в приданое Дельхаро, вторую же половиною ещё владела сама старуха.

Миновало несколько недель после событий, о которых мы рассказали. Никакого неуместного шума из-за маленькой дочки Дельхаро Трахилены не поднялось: дитя погребли в тот же день. Мать младенца, хоть и увидела какие-то синие пятна на шейке ребёнка, никогда не осмелилась бы о том заговорить, да никто и не поверил бы в преступление её матери. Очевидно, дитя погибло от коклюша.

Случилось так, что единственный доктор, уже многие годы работавший в селе, благодетельный баварец В., в ту пору отсутствовал. В Египте снова появилась холера, а министерство внутренних дел обыкновенно избирало именно этого врача начальником карантинной станции на Делосе.

На его место правительство временно отправило фельдшером какого-то старого врача, господина М., но он ещё не приехал. Кроме того, имелся один выпускник-медик, обитавший на острове. Он, вызванный гражданской полицией, дабы освидетельствовать смерть, бегло осмотрел личико мёртвого младенца, посокрушался, отчего за ним не послали, пока дитя было живо, и выдал “похоронную”, написавши: “от спазматического кашля”.

Старая Хадула жила с того дня, страдая от угрызений совести и беспокойства, а внешний облик её был таков, словно пепел лежал на её седых волосах, — столь неподвижно держала она мягко склонённую голову, — и длинная чёрная накидка словно бы служила ей покаянным вретисцем. Едва начался Великий пост, она стала ходить в церковь, клала помногу земных поклонов, раздумывала об исповеди и всё откладывала её. Постилась она на сухой пище без масла по пять дней в неделю и выдержала трёхдневное неядение в первую неделю и в середине Великого поста. Смотреть на дочь свою, Дельхаро, она стыдилась и старалась не встречаться с нею глазами.

Итак, в тот день, на Вербной неделе, Франкоянну спозаранку достигла вершины высокого каменистого холма, что глядит на городок с запада, — того, откуда печальный взгляд падает на маленький погост с белыми надгробьями, простёршийся внизу, на обрывистой полоске истерзанной морем земли, и сразу же устремляется прочь, ища жизни и весёлости в лазурных волнах, в просторной тройчатой гавани и на зелёных, радостных островках, замыкающих последнюю с востока и с юга. На этой вершине стояла одинокая, едва заметная, как фонарь, светящийся среди бела дня, церквушка святого Антония. Франкоянну подошла к ней, творя крестное знаменье, и хотела было войти вовнутрь, но в последний миг передумала и продолжила свой путь. “Не достойна я”, — сказала она про себя, — “идти в

церковь, где службы так часто служат... Пойду лучше к святому Иоанну Гайному”.

С этими мыслями она дошла до оливняка и осмотрела одно за другим оливковые деревья, чтобы понять, расцвели ли. Была уже середина апреля: Пасха выпала поздняя. Хадула про себя попросила Христа “подать маслица, нищету облегчить”. И правда: вот уже два года оливы не плодоносили; обнаружилась и какая-то коварная болезнь, от которой гибли плоды и чернели ветви деревьев.

Посидев немного в оливняке, Хадула поднялась и, многожды обернувшись назад, словно прощаясь с оливковыми деревьями, удалилась. Сойдя в распадок, она начала двигаться вверх по его дну, как делала уже не раз. Неся корзину под левым локтем и держа ножик правой рукою, она то и дело нагибалась в знакомых ей местах и искала осот, тордилиум, купырь и укроп, чтобы испечь пирог на Лазареву субботу, поесть самой с дочерьми, но угостить и соседок, от которых не было бы большого убытка.

Кроме этой дикой зелени, собирать которую умели все женщины, Хадула знала и другие травы, целебные для больных: морской лук, дрякву, змеиный щавель, росшие среди земляничника и папоротника, у корней диких деревьев; и грибы, и аканф, и крапиву, и венерин волос у маленьких водопадов, образованных ручьём, — об этом растении говорят, что оно помогает лихорадящим роженицам.

Хадула собрала достаточно трав, в том числе и из этих целебных — их положила она в корзину, завернувши в отдельный платок, — день уже клонился к вечеру, и солнце приближалось к вершине горы; на дне распадка было сумрачно, и шорох шагов отзывался тяжёлыми ударами в глубине её души.

Теперь старуха поднималась ещё выше, по крутому скату распадка. Далеко внизу прорезала своё русло речка, Ахиласов ручей, и через всю глубокую низину со спокойным бормотаньем бежал поток, казавшийся бездвижным, стоячим,

но в действительности непрестанно текущий под высокими густокудрыми платанами; он таинственно шелестел среди мхов, кустарников и папоротников, целовал стволы деревьев, по-змеиному скользил вдоль ложбины, зеленоватый от лиственных отсветов, лобзающий и тут же кусающий скалы и корни, — шепчущая родниковая влага, незагрязнённая, кишашая маленькими крабиками, которые бежали прятаться в песчаную муть, ежели какой-нибудь пастушок, оставив своих многочисленных овец пастись в свежей зелени, приходил наклониться к потоку и приподнимал камень, чтобы их изловить. Многогласый, неумолчный щебет дроздов благозвучно отдавался в лесу, венчающем западный склон и всползающем вверх к вершине Анагироса, к Орлиному гнезду, — где, как говорили, однажды поселился морской орёл и пережил три человеческих поколенья, но в конце концов умер, не оставив орлят. В его опустевшем гнезде обнаружили целый музей большущих костей, принадлежавших водным змеям, тюленям, акулам и другим чудищам пучины, которых в разные времена уничтожила огромная и могучая морская птица с изогнутым голубоватым клювом и величественным пепельным опереньем.

Наверху, где заканчивался распадок, в складке, образованной промеж двух гор, между Огнищем Кономоса и Малым Анагиросом, с давних пор находился старинный, заброшенный монастырь, Святой Иоанн Тайный. Он и на самом деле был тайным, расположенный за небольшим увалом, скрываемый двумя горами и густыми зарослями. Шёл ли кто-нибудь с северной стороны, как шла сейчас Франкоянну от Ахиласова ручья, или с южной, из местечка, именуемого Огнище Кономоса, — даже подойдя совсем близко к древней святыне, он и не заподозрил бы о её существовании, если бы не знал те места так хорошо, как знала их Франкоянну.

Двор и малочисленные кельи давным-давно превратились в развалины. Храмик ещё стоял, но был пустым, и литургии в нём не служились. Над наосом ещё сохранялась крыша, но в алтарной части перекрытия обрушились в северную сторону; каменные черепицы кровли и разные обломки покрывали жертвенник. Оставался деревянный иконостас, некогда резной

и позолоченный, теперь же обветшавший до неузнаваемости, но икон на нём не было. Редкие росписи были изъедены сыростью, и ликов святых нельзя было теперь различить.

Только справа от хоров сохранялась роспись с изображением святого Иоанна Предтечи, исповедующего Христа: “Се, Агнец Божий, вземляй грехи мира”. Лик Крестителя и его длань, простёртая и указующая, были видны вполне хорошо. Лик Спасителя очень смутно проступал на влажной стене.

К святому Иоанну Тайному зывали в старину те, кого мучала “тайная боль” или тайное прегрешение. Старая Хадула знала это поверье, или этот обычай, потому и решила прийти сегодня в древнюю пустынную церковку и вознести там свои мольбы. Она предпочла заброшенный храм, — ведь и в приходской церкви, где она проводила весь Великий пост, ей хватало смелости находиться только в притворе, за одной из створок женской двери — за тою, что была замкнута на засов, как если бы Хадула чувствовала необходимость быть готовой к бегству, едва её погонят! И не столько она боялась папа-Николаса, строгого и аскетичного приходского священника, или кир-Димитроса, церковного старосты, что вечно ворчал и сердился на старух, упорно не желавших подниматься на бабинец⁷ и требовавших себе маленький, выгороженный рядами стасидий закут в северо-западном углу храма; боялась она сурового Архангела, нарисованного в полный рост над северной дверью, с огненным мечом в руке.

Хадула вошла в пустынную церквушку, зажгла свечу, — её она вместе с небольшим количеством спичек принесла с собою в корзине, — и положила несколько земных поклонов пред полуистёршейся росписью. Затем, прокручивая в уме прицепившуюся навязчивую мысль, но не высказывая её вслух, она произнесла в голос, так что слова её можно было бы слышать, если бы кто-нибудь был свидетелем этой сцены:

⁷ Или матронеум: имеется в виду верхняя галерея в христианском храме, предназначавшаяся для женщин. В наше время эти галереи не используются.

“Коли я хорошо сделала, святе Иоанне, дай мне знак сегодня... дай сотворить дело доброе, духовное, чтобы душенька моя и сердечко успокоились!..”

IX

Корзина была заполнена, солнце стояло уже совсем низко, и старая Хадула, выйдя из заброшенной церквушки, отправилась обратно в городок. Она снова прошла распадком, свернула направо и начала подниматься по склону холма святого Антония, откуда и пришла. Но, ещё не достигнув вершины холма, где стояла церковь и откуда открывался обширный вид на гавань и город, она увидела справа внизу, на дне маленькой низины, именуемой Бабкиной падью и соединяющейся под тупым углом с глубокою долиною Ахиласа, просторный хорошо ухоженный сад Янниса Периволаса — и сказала себе:

“Пойду-ка к Яннису в огород, попрошу пучок луку или салату — авось угостит... Ничего ведь не потеряю.” Одновременно припомнила она и то, что услышала несколько дней назад: жена Янниса Периволаса была больна. Хадула не знала, находилась ли она сейчас в хижине, стоявшей посреди сада, или лечилась в городе. Но, поскольку сам садовник явно находился на месте (умозаключила старуха, увидев издалека открытую садовую калитку), она подумала, не заработать ли немного денег с помощью трав, лежавших у неё в корзинке, пообещавши “зелье” для исцеления его супруги. И сразу же вновь сказала себе самой: “Как у них заработать, у нищих-то!.. Им бы лучшая помощь была, кабыдал им кто бесплодную траву (Господи прости!) Хоть бы мóлодец-траву! За что ей всё одних девок рожать, бедняжке!.. Уж пять-шесть народила, чай. Не знаю, померла ль хоть одна... по девять жизней у них!..”

Она и на самом деле долгие годы искала в горах и ущельях “молодец-траву” для своей дочери, но та, которую нашла и дала ей, не помогла: напротив, она сработала, скорее, как “девица-траву”. Впрочем, самой Хадуле в былое время, когда ей дала траву золовка, снадобье помогло, ведь родилось у неё четверо

сыновей и лишь три дочери. Касательно же “бесплодной травы” духовник ещё много лет назад сказал ей, что это великий грех.

Спускаясь по тропинке под гору, ещё не дойдя до садовой калитки, она увидела, что Янниса Периволаса в саду не было: в тот момент он находился на соседнем поле, которое, очевидно, взял в наём у соседа как исполнитель. Поле было засеяно ячменём, ярко зеленеющим и уже вершковым; располагалось же оно на уровне, на высоту колена более низком, чем сад. Яннис, нагнувшийся у края поля, как было видно, полел, сиречь выдёргивал дурную траву, сорняки, проросшие между всходов, хотя для этого было ещё рано, а солнце уже садилось. Находился он на дальнем краю поля, и, когда Янну приблизилась к садовой калитке, он перестал быть ей виден, скрытый от глаз плотной изгородью, а расстояние было внушительным, так что она не смогла издали крикнуть ему “добрый вечер”. Тот же, склонившийся и поглощённый работой, даже не заметил её.

Старая Хадула вошла. Близ калитки стояла хижина, относительно белая, не очень ухоженная и нечистая на вид. Видно было, что её давно уже не белили, и вся она свидетельствовала о нездоровье хозяйки. Орудия, мешки, травы — всё вокруг было в беспорядке. Дверь оказалась запертой. Ставни на двух окнах были закрыты. Лишь одно застеклённое слуховое окошко виднелось чуть выше, но, чтобы подойти к нему, вытянуться и посмотреть, есть ли внутри человек, Франкоянну должна была подняться по двум или трём ступенькам на тесную и неогороженную дощатую веранду, так называемый “хаят”.

Пока она раздумывала, следует ли ей так поступать и не лучше ли будет просто подняться в хаят и постучать в дверь, до неё донеслись голоса маленьких девочек. Чуть поодаль находился колодец с воротом, а близ него водоскоп⁸, глубокий и низкий, с бортами, едва выступающими над поверхностью земли. На этом рукотворном берегу, у края водоскопа, сидели две девчурки, одна не старше пяти лет, а другая не старше

⁸ Бассейн для сбора воды, цистерна.

трёх, и играли с камышинкою и бечевою, к концу которой привязали гвоздь, как будто рыбачили в водоскопе.

— Вот!.. Подал знаменье свят-Иоанн!..— сказала про себя, почти невольно, Франкоянну, увидевшая двух девочек. — То-то было бы избавленье бедняжке Периволу, кабы они упали в водоскоп да утопли... Ну-ка, глянem, вода там есть?

Приблизившись, она нагнулась и увидела, что водоскоп был почти полон: воды было в нём под две трети сажени.

— Что ж он их тут одних оставляет, малых девчуток, отец этот? — сказала вновь Франкоянну. — Будто не могут и сами внутрь свалиться...

Она бросила беспокойный взгляд на хижину. Но та выглядела так, словно внутри не было ни души.

С любопытством она посмотрела на девочек. Старшая из них, миловидная, белокурая, хотя и почти совершенно немытая, оставляла приятное впечатление. Младшая же, бледная, плохонько одетая, страдала, по всей видимости, от “собачьей старости”, сиречь детского худосочия⁹.

— Деточки, — сказала Франкоянну, — чего вы тут делаете?.. Где ваша мамка?

Старшая девочка ответила:

— Дёма.

— Дома, — перевела старуха. — А где дома? Здесь али в селе?

— Она не здесь, — вновь ответило дитя.

Видно было, что оно исполняло наказ своего отца, не хотевшего, чтобы прохожие беспокоили больную. Она,

⁹ От рахита.

конечно же, находилась в хижине, хотя окна были затворены — быть может, чтобы ей не вредил вечерний речной ветер. Супруг её, по всей видимости, совсем недавно ушёл на соседское поле, дабы заняться там небольшою дополнительной работою, и не то запямятовал, не то счёл излишним запереть калитку своего огорода.

Старая Хадула спросила опять:

— Так она в селе, ваша мамка? И как же вы тут совсем одни?

— Батюска здесь, — сказала малютка.

— Где?

— Там, — показала девочка.

— И что он там делает?

Дитя пожало плечами. Оно не знало, что сказать. Наконец, промолвило:

— Аботает.

— Как тебя зовут, дочка?

— Меня? Мсуда. (Мирсуда)

— А твою сестру?

— Тула. (Аретула)

Франкоянну подумала:

— Закричат, небось... Услышат их? Да кто услышит!.. Нужно поторапливаться, — добавила она про себя. — Этот-то, как его там, сейчас воротится, потому как стемнеет, и ему ничего не видать будет там на поле... И уходить надобно как можно быстрее, чтобы он меня не заметил, как до сих пор не замечал.

Какое-то мгновение она медлила, чувствуя ужасную борьбу внутри себя. Затем сказала себе почти вслух: “Смелей!.. Решайся.”

И, схватив обеими руками двух девочек, с огромной силой толкнула их. Раздался громкий всплеск.

Два маленьких создания барахтались в водоскопе.

Старшая девочка испустила пронзительный крик, отозвавшийся эхом в безлюдии вечера.

— Ма...!

Природное побуждение заставило Франкоянну обратить лицо к белой хижине, к которой до сих пор она была повернута задом. Одновременно она и порывалась уйти, и косилась краем глаза на водоскоп, чтобы понять, продолжалась ли ещё агония. Она подхватила свою корзинку, которую перед тем поставила наземь, и отошла на пару шагов.

Два маленьких создания бились в воде. Младшая уже пошла ко дну. Старшая ещё боролась.

Через несколько мгновений старуха услышала позади себя стук открывающейся двери и слабый голос.

Она обернулась. Дверь хижины была отворена. Больная женщина, мать двух девочек, бледная и закутанная в шерстяную простыню, похожая на привидение, стояла в дверном проёме.

— Что такое? — сказала в ужасе хворая женщина.

Тогда Франкоянну, стоявшая в двух шагах от водоскопа, с превеликой готовностью бросила только что поднятую корзинку и побежала вперёд, подпрыгивая и крича:

— Дети!... Дети!... Упали в воду!... Гляди!... Куда ж вы смотрите, христиане?.. Как же так?.. Оставляете детей одних у

водоскопа, а там воды полно!.. Слава Богу, я тут была! Зашла вот сейчас... Бог меня послал!

И сразу же, нагнувшись и торопливо скинувши платье, оставшись в так называемой “маллине”, разновидности рубахи, и отшвырнув истоптанные грубые башмаки, так что показались носки, дырявые на пятках, она тяжело, с громким всплеском, бросилась в водоскоп.

Больная женщина издала короткий вскрик и стала торопливо спускаться по двум или трём каменным ступенькам крыльца, оступаясь и едва держась на ногах от слабости. Раньше, чем она успела приблизиться к водоскопу, Янну ухватила младшую девочку и медленно вытянула её наружу, следя за тем, чтобы головка и рот оставались под водою. Затем, подняв маленькое тельце, она положила его на каменный край, наклонилась и ухватила вторую девочку, старшую. Старуха держала её за подол платья и за ногу, и, пока она тащила тело, голова девочки оставалась опущенной вниз, — оставалась в воде так долго, как только было возможно.

Наконец, подросла мать, и Франкоянну решительно вытянула тело наверх. Затем она положила его подле другого тела.

Два крохотных создания не подавали признаков чувств.

С усилием Франкоянну отыскала, пошарив ногами в воде, находившийся в южной части слив водоскопа, перекрытый широкою доскою с длинной ручкой, похожей на копьё, и, оперев ступню на эту выемку в стенке, с трудом поднялась на край, вся промокшая.

— Вишь! Я-то не подумала! — нарочито заявила Франкоянну. — Надобно было рычаг-то потянуть, затычку вынуть, чтобы разом вся вода ушла, пока не утопи девочки, бедняжечки!

И вправду, об этом она вовсе не думала. Но иногда и искренность бывает лицемерной.

Франкоянну отряхнула насквозь промокшие подошвы своих одёжек и, бросая взгляд на два бесчувственных тела, начала говорить со страстью и знанием дела:

— Повесить надобно вниз головою!.. Камышом похлестать, чтобы сблевали!.. Хорошо, что вода пресная... Где ж твой муж-то, христьянка?.. Разве ж так оставляют малюток, без надзору играть в водоскопе?.. Слава Богу, я проходила! Господь меня послал... С Анагироса шла, с оливняка... Хорошо, в огороде калитка была открыта... Где муж-то твой? Где? Как вхожу в калитку, слышу плюх! Бегу... И что ж вижу! Не успела... Я ж и не знала, что ты здесь... Думала, ты в селе... Я слыхала, что ты хвораешь... Как же я напугалась!.. Теперича повесить вверх ногами, да быстро! Не думаю, что они совсем утопились... Да где ж он... муж-то твой? Где он?

И, схвативши с силой одно из тел, меньшее, относительно которого старуха была почти уверена, что оно было уже мертво, она перенесла его под дерево, чтобы подвесить вниз головою, как говорила.

— Есть верёвка?.. А, вон, вижу верёвку с камышинкою! Хорошо, сгодится.

Она нетерпеливо указывала больной женщине, чтобы та принесла ей камышинку, с которой недавно играли две девочки.

Женщина, с кружащейся головою, растерявшаяся, сплетающая руки в ужасе, в тревоге, в ошеломлении, слабым голосом спросила:

— Да где ж их отец?

— Меня спрашиваешь? — отозвалась Янну.

— Не кликнешь его?.. Не могу я кричать, силушек нет, христьянка... Быть может, он в поле, внизу.

Франкоянну, временно оставив маленькое тело на земле, пробежала пару шагов, взяла камышинку с бечевою и попыталась распутать или разорвать её, чтобы привязать ею ноги маленькой утопленницы к ветви черешневого дерева и подвесить тельце головою вниз.

Вместе с тем, отвечая на просьбу женщины, она крикнула грозным, странным голосом:

— Яннис!.. Яннис!

Крик разнёсся по всей долине. Но Яннис не появлялся. Янну обвязала ноги девочки и стала пробовать её подвесить, одновременно повторяя свой возглас:

— Яннис!.. Ты где?.. Иди сюда!.. Дети в водоскоп упали!..

«Хорошо, что не идёт», говорила она про себя.

— Что ж он, не слышит, что ль, христьянин этот? Такой жадный до работы, что ль? Стемнело уже... Яннис! Яннис!..

Тут же она осознала, что выдаёт себя, поскольку женщина не сказала ей напрямую, что Яннис работал в поле, но она сама увидала его там, а если кто-нибудь и мог рассказать ей об этом, то одна лишь утопшая девочка. Поэтому она добавила:

— Да где ж он... В поле, ты говоришь?.. И что ж он там делает? Кто ж туда побежит, христьянка? Ты женщина хворая... Яннис!.. Яннис, ты где?

Наконец, послышался голос, донёсшийся из-за крайней изгороди, издалека.

— Что такое?.. Кто кричит?

— Бегом, Яннис!.. Дочки утопились! — с огромным усилием прокричала больная женщина.

Через минуту прибежал Яннис.

Франкоянну к тому времени успела подвесить маленькое тельце, затем подняла и второе тело, принадлежавшее старшей девочке, и ощупала его обеими руками, желая убедиться, что она была мертва. И вместе с тем она бросала косою хитрый взгляд на несчастную мать, бледную и дрожащую под своею белою шерстяной простынёю, и трясла головой, невольно сострадая этой женщине.

Увидев издалека бегущего отца, садовника, она перевернула тело вниз головою и некоторое время держала его, растерянная и объятая ужасом.

— Что такое?.. Что случилось? — крикнул в крайнем недоумении Яннис.

— Вот! Слава Богу, я тут оказалась! — прокричала в ответ Франкоянну. — С Анагироса шла, с корзиной... Хотела дать тебе травы какой-нибудь, что я сегодня в овраге набрала, чтоб ты сделал лекарство своей жене!.. Потому как я слыхала, что она хворает... Хорошо, калитка была открыта!.. Захожу... И тут слышу, плюх!.. Как же я перепугалась! Девчурки-то, с камышом играли, да упали в водоскоп... Я так поняла, разругались, кому камышинку держать, чтобы рыбу ловить понарошку... Малая хотела отобрать камышику у старшой... А старшая толкнула малую, и, видать, уронила в воду, а малая уцепилась за старшую да утянула за собою в водоскоп. (Франкоянну на ходу, в порыве вдохновения, придумала это объяснение.) Ах!.. Напугалась же я... Слышу — плюх!.. Хорошо, я тут была! Бог меня послал... Да разве ж можно так оставлять, христьяне, малых детей играть у водоскопа, где воды полно!..

Яннис, увидевший в бледных сумеречных лучах два бесчувственных тела, дёргая себя за волосы и кусая кончики пальцев, отвечал:

— Ох!.. Грех какой! Ты права, христьянка!.. Ах... да что ж такое-то!.. А я-то внизу в поле был, траву драл... и всё не мог успокоиться, дурень... Ровно червь меня грыз!.. И не подумал же, что водоскоп полный. А ведь чуял страх, подозревал что-то... Всё хотел бросить прополку и побежать обратно в огород...

Так и думал, что-то мне рогатый готовит, что-то мне умышляет... А не смог работу бросить, дурень!.. Ох, во всём твоя правда, христьянка! Ах! Ах, грех какой!..

И, полный тревоги, садовник принялся помогать, используя сподручные средства против утопления, кои советовала многоопытная Франкоянну.

.....

Старая Хадула вынуждена была провести всю ту ночь в хижине, где испытала все редчайшие и неопишуемые чувства убийцы, внезапно преобразившегося в лекаря своих собственных жертв. Несмотря на все подвешивания и притирания, к которым она прибегала, девочки умерли. Утром Яннис побежал в городок, чтобы известить власти, а Франкоянну осталась присматривать за хворой матерью, бьющейся и рыдающей, и исполняла обязанности утешительницы, близкие к врачебному ремеслу.

Мировой судья и “замещающий полицейского” заседатель прибыли на место. На допросе Франкоянну рассказала о своей вчерашней прогулке и о случайном появлении в огороде. Затем она повторила почти слово в слово то же самое, что сказала отцу двух девочек: “Малая хотела отобрать камышинку у старшей. А старшая толкнула малую, и, видать, уронила в воду, а малая уцепилась за старшую да утянула за собою в водоскоп.” Очевидно, это было догадкой допрашиваемой: ведь едва она переступила порог калитки, как услышала “плюх!” и не успела предупредить несчастье, только “сильно напужалась”.

Приехал временный фельдшер, господин М., осмотрел трупы и составил своё заключение: было ясно, что две девочки захлебнулись от падения в воду.

Никаких улик и подозрений против Франкоянну не было. Некий священник пришёл и отпел два маленьких создания в церквушке святого Антония; там же их и похоронили, среди кустарников и фисташковых деревьев, у северной стены храма.

Х

Миновали пасхальные праздники. На Фоминой неделе старая Хадула, взявши в помощницы свою младшую дочь, Криньо, стирала в просторном дворе кир-Александроса Розмаиса, пожилого местного старосты, бывшего её кумом и крестившего едва ли не всех её детей. В крытой части двора, так называемой масляне¹⁰, рядом с огромным деревянным тарапаном, весьма похожим на Ноев ковчег, как его изображают, и близ колодца, где расцветающая исполинская шелковица простирала свои крупные, покрытые зеленью ветви, словно давая крест-накрест благословение достойным и недостойным, маленький сад, огороженный деревянным тыном, распускал многокрасочные пьянящие цветы в росе сладкости и неге очей для всех тварей Божиих; подле небольшой печки с каменной цистерною для мезги находилось объёмистое, глубокое корыто Франкоянну, рядом с ним — другое корыто, принадлежавшее Криньо, и без усталости обе они вот уже два дня мыли, стирали, полоскали, развешивали, сушили, собирали — и ещё не успели закончить свою славную работу.

На второй день Франкоянну сильно помешали беготня, шум и проделки гурьбы маленьких ребят и девчушек, проникших во двор и поднимавших там суматоху. Почти все дети округи, десять или пятнадцать числом, ворвались во двор, носились туда-сюда, прыгали, гонялись друг за дружкой по тарапану, играли в прятки, наклонялись к колодцу, точно Нарциссы, чтобы посмотреть на свою тень в воде, рискуя свалиться вовнутрь; они издавали громкие нечленораздельные возгласы, как Эхо, девочки прятались за тарапаном, в тёмных закутках, куда их влёл потешный страх — и всё это с превеликой детской

¹⁰ Это место служило складом оливкового масла.

бесцеремонностью и назойливостью, не давая трудолюбивой старухе и её дочери спокойно заниматься своим делом.

В просторном дворе было две калитки, большая и маленькая. Обе их Янну запирали снова и снова, на засов или на щеколду, надеясь обрести спокойствие; вскоре обе вновь оказывались открытыми: оттого, что и жильцам часто требовалось выйти или войти, и другие люди, помимо детей, приходили с улицы, — родственники или друзья семейства. Она выразила свою озабоченность почтенной старухе, хозяйке, и та несколько раз отругала детвору, но без малейшего успеха. Пожаловалась она и двум соседкам, матерям нескольких шумевших ребят. Те отвечали ей, чтобы «за собой глядела, а чужим житьём не командовала».

Ближе к полудню Янну послала Криньо домой за хлебом и за фавой¹¹, которую пообещала сварить Амерса, — у неё, всегда имевшей под рукой свой ткацкий стан, не было обыкновения принимать участие в стирке и прочих надомных работах, — дабы пообедать.

Франкоянну ненадолго осталась в одиночестве, продолжая стирать. Во дворе в этот час находились лишь две или три девочки, которые, однако же, шумели ничуть не менее мальчишек. С тех пор, как в селе устроили женскую школу, девочки успели изрядно расхрабриться. Грамоте госпожа учительница обучала их мало, рукоделию ещё меньше, но только наставляла их «быть смелее» и не вести себя «как зашуганные» и «как из леса», да провозглашала, что наступила пора «эмансипироваться».

Франкоянну бранила их, но те не слушали. Мало того, одна девчушка, едва семи лет от роду, дочка соседки Пропантины, Ксенула, начала передразнивать старуху шутовскими движеньями рук и гримасами рта.

В какое-то мгновение две другие девочки убежали прочь со двора, Ксенула же, оставшаяся, склонилась над колодцем и

¹¹ Разновидность гороха

пыталась хворостиной дотянуться до воды, чтобы взбаламутить её. Наклонялась она упорно, но хворостина была слишком коротка и до воды не доставала.

— Ну! Господи, хоть бы ты внутрь свалилась, Ксенула! — произнесла со странным смешком Франкоянну. — Вот бы своей мамке жизнь облегчила!

— Ну! Хоспяди, фоть бы ты внутль сфафилась! — передразнила Ксенула, изображая голос старухи. — Фот бы фоей шавке зизнь офлехсила!

Она привстала на цыпочки и нагнулась опять, ещё сильнее, чем прежде.

Устье колодца, прямоугольное, было огорожено досками различной ширины, так что боковины не имели одинаковую высоту. Маленькая доска, через которую перевешивалась Ксенула, была ниже трёх остальных, — ветхая, скользкая, изъеденная трением верёвки с ведром, которым черпали воду, со ржавыми гвоздями, гнилая и шатающаяся. Наклоняясь, девочка полностью облокотилась, переместив вес своего тела в левую руку, об эту доску, поскользнулась, доска подалась, оторвалась с одного конца — и Ксенула упала вниз головой в зияющее устье колодца. Раздались сдавленный крик, удар, а затем громкий всплеск воды.

До поверхности воды от края колодца было около сажени с половиной, глубина же воды, надо думать, достигала сажени.

По природному побуждению Франкоянну хотела было закричать и ринуться на помощь. Но крик она сама задавила у себя в гортани, не дозволив ему вырваться, а движения отказали ей и тело её застыло. Странная мысль пришла ей на ум. Стоило ей, почти в шутку, пожелать, чтобы девочка упала в колодец, как это случилось! Стало быть, Бог (держала ли она так подумать?) внял её просьбе, и теперь не было нужды прикладывать свою руку: достаточно было пожелать, чтобы желанье было услышано.

Мгновение спустя старуха приняла решение подойти к устью колодца, наклониться и заглянуть вовнутрь. Она увидела агонию маленькой девочки, трепыхавшейся в воде, и сказала себе, что ежели захотела бы, и то не смогла бы её спасти. Но, разумеется, ежели утонет... обвинение падёт на неё! Звать на помощь было теперь поздно. Для того, чтобы спасти малютку, могло быть и поздно, но для того, чтобы показать свою невиновность, вероятно, поздно ещё не было. И всё же она не решилась закричать. Было бы лучше, если бы она сделала это немедленно. Но какое же невезение! Какой грех на душу! Если бы Криньо сейчас была здесь, как это было бы кстати! Та, конечно, могла бы спуститься босою в воду — ведь в колодце, как это обычно бывает, имелись ступеньки во внутренних стенках, выемки в каменной кладке, хотя, может быть, очень опасные и скользкие, — и вполне возможно, что Криньо удалось бы спасти девчущку. Теперь же оставались лишь отчаяние и смерть!

В тот момент Франкоянну забыла свою первую мысль — что Господь пожелал, дабы её просьба была исполнена и девочка утонула. Затем это соображение вновь пришло ей на ум — и она непроизвольно рассмеялась горьким смехом.

Во мгновение ока она поняла, как нужно было поступить.

— Пойду-ка я домой, — сказала она про себя. — Притворюсь, раз уж Криньо припозднилась с возвращеньем, — может статься, обед ещё не готов, — что больно проголодалась и решила якобы поесть в доме вместе со всеми, чтоб избавить заодно и Криньо от лишнего труда, чтобы ей еду не таскать.

И она торопливо, отнеся корыто с недостиранною одеждою за тарапан, в большой деревянный амбар, заперев его и положив ключ себе в карман, выбежала со двора через маленькую калитку, затворила её снаружи на щеколду и удалилась.

XI

Когда тело Ксенулы вытащили из колодца, утопленное и мёртвое, старая Хадула потеряла покой, и леденящий страх начал обуревать её... Она говорила себе, что теперь, хоть она и была невиновна, спастись уже было нельзя.

И действительно, власти начали что-то подозревать. Совпадение того, что старуха оказалась свидетельницей утопления двух дочек Янниса Периволаса в Бабкиной пади, где во всём деле, — хотя никаких улик или косвенных указаний не было обнаружено, — оставалось <нечто> странное и загадочное, и того, что та же самая старуха находилась во дворе старосты Розмаиса, когда тонула в колодце маленькая Ксенула, дочь Пропантиса, вызвало смутные подозрения у мирового судьи, и он обратил на это внимание заседателя, «замещавшего полицейского». Заседатель же, который, будучи общественным обвинителем, ограничивался лишь тем, что выступал в уголовном суде, говоря «судя по свидетельствам, данным свидетелями, похоже, что обвиняемый виновен», или «похоже, что невиновен», а на протяжении всего остального времени не предпринимал ничего, чтобы развернуть какую-либо деятельность или поупражняться в красноречии, отвечал просто: «коли мировой судья сказал, значит, так и есть, и мне тоже так кажется». И тогда они оба решили допросить старую Хадулу, вдову Иоанниса Франкоса, со всею строгостью, а при необходимости арестовать.

На первом допросе, проведённом по горячим следам прямо на месте происшествия, — тогда у мирового судьи и у полицейского ещё не возникло ясных подозрений, или они ещё не объявляли о них друг другу (так что потом согласие одного, как водится, удесятирило уверенность другого) — Франкоянну невозмутимо изложила уже известные события, за исключением их внутренней психологии: что, дескать, когда она стирала, «и перевалило уж за полдень, и она проголодалась,

а дочь её, Криньо, пошла в дом принести обед, да вроде как припозднилась, а она совсем уж хотела есть, — да и эта толпа её утомила, девчурки и ребятишки, которые всё кверху ногами перевернули со своими играми и шалостями во дворе, и носились взад-вперёд по масляне, и вокруг тарапана, и подле колодца; а на разумные её замечания они, баловники, всё дразнились и выводили её из себя, так что под конец она совсем уж потеряла терпение — всё вышесказанное подтвердила и Криньо, её дочь, — и тогда, измаянная и едва держащаяся на ногах от голода, она решила пойти домой, дабы пообедать там вместе со всеми, а попутно избавить и Криньо от лишней заботы с тасканьем еды, чтобы и та могла немного успокоиться и передохнуть. Так она вышла со двора и затворила калитку на щеколду. Когда же, после обеда, примерно час спустя, она вернулась во двор вместе с Криньо, то поначалу ничего не заподозрила и вновь принялась за работу. Детский гам к тому времени уж поутих. Но когда понадобилось зачерпнуть воды из колодца, «цепня» Криньо, то бишь бадья, ударилась о твёрдое тело, и Криньо в изумлении и страхе кликнула мать. Тогда-то они вместе и обнаружили труп маленькой девочки, плавающий, или, вернее, уже утонувший в воде.»

Криньо была совершенно искренней, подтверждая всё сказанное. Мировой судья благосклонно выслушал её показания. Но матери её он состроил гримасу. Эта гримаса — эта «рожа» мирового судьи — совсем не понравилась Франкоянну, ибо она обладала немалым опытом, и тогда страшная тревога обуяла её.

В доме Трахилены, её дочери, куда она зашла незадолго до захода солнца, старуха не переставала беспокойно выглядывать в окно. Взгляд её был устремлён к её собственному маленькому жилищу, которое, хотя и находилось не напротив, а сбоку, было всё-таки различимо, поскольку выдавалось относительно малочисленных стоявших по соседству домов на несколько локтей в сторону улицы. Янну то и дело выглядывала в окно, но ничего не видела. Дочь её, Дельхаро, заметила её тревогу и стала выглядывать в окно так же, как мать. Когда солнце уже заходило, она вдруг окликнула старуху с затаённым ужасом:

— Матушка! Матушка!

— Что такое?

— Ступай погляди!

— Чего?

— Двое регулярных встали и смотрят чего-то у двора, у вашего дома...

Старая Хадула поднялась и увидела то, чего боялась. Двое «регулярных», сиречь жандармов, как во времена её сына Мороса — когда тот, около пятнадцати лет назад, протащил за волосы по каменной мостовой свою мать и ударил ножом сестру, — стояли в ожидании, хищно поглядывая на дом.

Франкоянну увидела их и убедилась, что ей угрожала огромная и совсем близкая опасность.

— Надо мне в горы бечь, доча! — сказала она внезапно. — Коли успею!

— Зачем, матушка? — спросила в волнении Дельхаро.

— Зачем... Ищут меня, заарестовать хотят.

— Правда?.. Ты, что ль, бросила дитя в колодец, матушка?!

— Нет, как Бог свят!.. Этого я не делала, — сказала Франкоянну.

— Тогда за что же?..

— Молчи!..

— Грехи тебя гонят, матушка, — сказала опасливо Дельхаро.

— Молчи! Рехнулась? — ответила злобно мать, заподозрив какой-то намёк в тоне голоса своей дочери.

— Да что мне сказать-то, горемычной! — промолвила, сплетая в замешательстве руки, Дельхаро.

— А! Таких слов не говори! Нет! Негоже так говорить!

И она грозно направилась к лестнице, чтобы уйти.

— Ты куда, матушка?

— В горы, говорю тебе!.. Принеси мне сухарей.

Дельхаро кинулась открывать ларь и вынула оттуда немного сухарей.

— Дай мне и мою корзину... и ножик... — в крайнем нетерпении повторяла Франкоянну. — И одеяло шерстяное положи... и платок мой... и обутки старые... Принеси мою клюку... где она, поищи!

Дельхаро, молча и с предельным терпением, пыталась управиться со всеми этими приготовлениями.

— Куда ж ты пойдёшь, матушка? — наконец повторила она, плача. — Ох! Сердце захолонуло!

— Не реви!.. Где-нибудь спрячусь, в дыре какой-нибудь... А вы тут чтобы мне тихо, смиренно сидели! Покуда не пройдёт гнев Божий...

И, подхватив свои клюку и корзину, она бесшумно спустилась вниз. Перекрестилась.

На третьей ступени лестницы она вдруг замерла и, оборотившись к Дельхаро, сказала ей:

— Ты знаешь чего сделай?.. Я по верхней дороге пойду, чтоб улизнуть, чтоб не заметили меня, собаки... А ты в это время беги-ка домой... прикинься, будто не видишь их, регулярных-то, и крикни Амерсе с улицы: «Амерса, мать дома?..» ...Нет, не говори «мать дома»... кричи так: «Амерса, как там матушка, полегчало ей? Поднялась ли?.. В постели ещё?» Чтоб они

поверили, будто я в доме и хвораю... Чтоб не заподозрили чего да не погнались за мной, собаки!.. Беги же, ну!

Чуть погодя она добавила:

— Будьте здоровы... и до свиданьица!

Немедля Дельхаро выскочила прочь, стремительно, лёгкою походкою, и направилась к материнскому дому, дабы исполнить поручение.

Франкоянну двинулась по верхней дороге, ведущей в местечко Котронья, быстрым шагом. К последнему отзвуку своего «до свиданьица», обращённого к дочери, она непроизвольно прибавила про себя с горькой насмешкою: «Или с вами тут свидимся — или с вашим братцем свижусь в тюрьме — или на том свете свижусь с вашим батькой... да, пожалуй, последнее из трёх вернее всего!»

Пока она подымалась, тяжело дыша, по каменистому склону холма, внутри себя она повторяла: «Помоги, Божья мать, пуцай я и грешница». Затем промолвила в глубине души: «Не со зла я это сделала.»

Едва пройдя несколько шагов посреди последних редких домишек городка, на утёсах, и начав спускаться к берегу, Франкоянну увидала Кирьякоса, полицейского пристава, в феске с короткою кисточкою, или «галипой», как её называли, с тёмно-русыми подкрученными усами, держащего в руке короткую дубинку, на которой, как на скитале¹², виднелась надпись «Власть Закона». Сопровождаемый старым отставным военным в мундире, он шёл по боковой улочке, направляясь к берегу, куда спускалась и Франкоянну, и вскоре непременно догнал бы её или оказался бы у неё за спиною.

¹² Скиталой в древней Спарте назывался гранёный жезл, на который наматывалась виток за витком узкая полоска папируса. По намотанному писалось военное донесение: после снятия оно выглядело как набор букв. Получатель должен был намотать папирус на аналогичный жезл, чтобы прочесть написанное.

Может статься, что появление в том месте Кирьякоса с отставным военным было случайным. Но виноватая женщина, завидев их, взволновалась и убыстрила шаг. Более того: ей показалось, что и они сделали то же самое. .

Тут Янну, уже спустившаяся на берег, на своё везение увидела перед собою отворённую дверь дома, весьма хорошо ей знакомого, и, не раздумывая ни мгновения, перешагнула через порог. Едва войдя, она в смятении заперла дверь на засов и на щеколду.

— Марусо, ты наверху? — позвала она тихим, но свистящим голосом, подымаясь по лестнице.

Невысокая румяная женщина появилась в двери одной из комнат и встала перед нею, — с улыбкой, но и с беспокойством во взгляде.

— Какими судьбами, тётя Хадула? — спросила она.

— Не спрашивай, деточка... Большая беда стряслась, — начала говорить Янну.

Затем она спросила встревоженно:

— Кир-Анагностис не тут ли?

— Нет, нету его: не приходит он так рано, в кофейне он... Ах! Тётя Хадула, а я-то всё думала, как бы домой к тебе зайти, рассказать новости...

— Никак узнала?

— Сейчас ввечеру хозяин говорил с нашим кумом, с Эмеритисом — он заходил покурить трубку и потолковать, как у них в обычае.

— И что ж они говорили?

— Мировой судья с полицейским арестовать тебя хотят... Жандармов послать собирались... Подозревают тебя за девчущку, что вчера в колодце утопла.

— О! Пропади оно пропадом...

— И я всё думала зайти, рассказать тебе, чтоб ты спряталась, коли сможешь... Но тут-то ты как очутилась?

Франкоянну рассказала, как после вчерашнего допроса, когда ей стало ясно, что мировой судья «взял её на прицел», она испугалась, не попасть бы ей в беду понапрасну, и как из дома своей дочери, Дельхаро, куда она случайно зашла нынче вечером, она увидела жандармов, наблюдавших за её собственным домом; как она решила бежать в горы; как спускалась сюда, на берег, намереваясь свернуть на потайную горную тропинку за Котроньей, и как повстречала пристава Кирьякоса с каким-то стариком-«регулярным», следующих за нею, но по Божьему промыслению оказалась рядом с домом Марусо, — которая хорошо и с давних пор знает «про её мытарства», не преминула она добавить, — и, обнаружив дверь отворённую, поспешила войти вовнутрь, дабы найти убежище.

— Я дверь замкнула изнутри, деточка... со страху, что я могла поделаться! На роду мне было написано горе хлебать, вот и хлебаю... Марусо, родненькая, сделай милость, выглянь-ка тихонько, тихонько, через вон те ставни... Погляди, Кирьякос внизу аль ушёл?

Марусо подошла к указанному окну и выглянула на улицу. Затем она вернулась и промолвила:

— Там они, поодаль... Стоят на улице с каким-то стариком, военным... С нашим соседом разговаривают, с рыбаком, с Франкулисом...

— Никак сюда смотрят?

— На берег смотрят, на песок.

Старуха была охвачена ужасом и поднесла руки к лицу, точно хотела дёрнуть себя за волосы или расцарапать себе щёки.

Маруса сжалилась над нею.

— Ты присядь лучше, тётя Хадула... Не бойсь... всё минет, всё пройдёт... Садись, я тебе кофию сварю попить.

Янну, помедлив, опустилась на какую-то низкую лавку у дверей кухни, где происходила беседа.

Дом выглядел принадлежавшим состоятельной семье, со множеством комнат и порядочной мебелировкой.

— Ты мои-то дела позабыла, что ли, тётя-Хадула?.. — спросила загадочно Маруса, и лицо её запунцовело пуще прежнего. — Ты припомни-ка, сколько я страху натерпелась, через какие мытарства прошла! Спасибо тебе, помогла ты мне тогда! Так и твои беды пройдут.

— Я и говорю, про мои мытарства ты всё знаешь! — скромно отозвалась Франкоянну.

— То мои мытарства были, — поправила честная Марусо. Вскипятив кофе, она наполнила чашку.

— Хозяин мой с минуты на минуту вернётся... Ты пей кофий. На вот и хлебушка помакать, — добавила она, отрезая толстый ломоть хлеба.

Старуха стала макать хлеб в чашку и без удовольствия жевать.

— Дай Бог тебе здоровья, — говорила она. — Кусок в горло нейдёт, деточка... От расстройства... Ровно яд во рту.

Затем она произнесла:

— Не почти за труд, выглянь ещё разок в окошко... Кирьякос ещё там?

Маруса повиновалась.

— Там, тётя Хадула... Всё с Франкулисом беседует.

— И куда же мне пойти?.. А ну как отец твой вернётся?.. Солнце уж село... смерклось уже... темнеет.

Маруса на мгновение задумалась, а затем сказала:

— Большой долг у меня перед тобой, тётя Хадула... Разве ж я забуду!

— Помнишь? — спросила, невольно ухмыльнувшись, старуха.

— Как же тут позабудешь? Всё, что могу, для тебя сделаю.

— Дай Бог тебе здоровья.

— Думается, лучше всего будет, коли я тебя на ночь тут спрячу, сейчас, покуда хозяин не пришёл.

— Где?

— Внизу, в маленьком подклете, на софе... поняла?

— А! — сказала Франкоянну, словно что-то припоминая.

— А за полночь, когда кочет прокричит...

— Что?..

— Как светать начнёт, когда захочешь...

— Ладно!

— Как захочешь, встанешь и ступай, куда тебе Бог покажет.

— Так и быть! — промолвила со вздохом старуха.

— А завтра ночью, коли не найдёшь местечка поукромнее и повернее, приходи, брось мне камушек вот в это окно, или на маленький балкончик, который к морю, я спущусь, отворю тебе и спрячу тебя опять в подклете.

— Ладно!.. Но ты глянь, Кирьякос не ушёл?

Маруса вышла из-за перегородки, приблизилась к смотревшему на улицу окну, задержалась подле него

ненадолго, потому как уже стемнело и она не могла ясно различить, что происходило снаружи, и воротилась.

— Не ушли... там они, все трое.

— Одного я не пойму, — сказала Франкоянну задумчиво. — Увидал ли Кирьякос, как я сюда входила, али нет... Ежели он меня не видал и не меня караулит, лучше бы мне уйти, не чинить вам беспокойства.

Эти слова старуха говорила вполне искренне. Ей было тяжело; она жаждала горного воздуха. Она чувствовала, что там обрела бы свободу, и надеялась, что вместе с нею нашла бы и укрытие.

— Как бы оно ни было, нельзя тебе сейчас уходить, — сказала Маруса, становившаяся всё радушнее от согревавших её воспоминаний. — Пережди, тётя Хадула, эту ночь в подклете, дай и мне повспоминать прежние беды. Кабы знать, не привидятся ли во сне сегодня?

— Так-то оно теперь и вспоминается, деточка, — сказала с лукавым простодушием старуха. — Ах! В каждом грехе своя сласть.

— Верно!.. Но под конец сколько горести! — дополнила печально Марусо.

Дом состоял из двух зданий. Помимо господской части, существовал небольшой северный флигель, где располагалась кухня, а под кухнею находился «маленький подклет». Туда-то, через лаз и по узкой лесенке, поспешила отвести Маруса свою гостью, пока не воротился кир-Анагностис, хозяин. Затем она принесла ей хлеба, кусок варёного мяса, оставшийся от обеда, сыру, воды, стакан вина, и устроила её на софе в маленьком подклете, служившем кладовкою для разной домашней утвари. Она постелила ей старый килим¹³, потёртое шерстяное одеяло, куцию простыньку, положила жёсткое зголовье, набитое льняной кострой, и пожелала ей доброй ночи и «лёгких снов».

¹³ Тканый ковёр

Лёгкий или тяжёлый, сон Франкоянну не мог быть ни безмятежным, ни приятным посреди стольких треволнений и такого страха. Но обстановка заставила её почти позабыть о происходящем и о своём чудовищном положении, предавшись мечтательным воспоминаниям о минувшем. То, что Янну скромно назвала «своими мытарствами», а Маруса искренне считала своими собственными «мытарствами» и «бедами», произошло восемь или десять лет назад.

Бездетный кир-Анагностис Бенидис взял Марусу в приёмные дочери и воспитал её во всей строгости, на какую только была способна его супруга, умершая пятнадцать лет назад. Господин Бенидис был в оны дни виднейшим человеком в своих краях. Он успел побыть местным старостой до начала Восстания, уполномоченным на первых Собраниях в Трезене, в Пронойе, в Аргосе и т.д., городским головой перед принятием Конституции. Затем, после Конституции, он служил высшим чиновником в разных местах. Марусу, евреечку, а по мнению других — турчаночку, он удочерил почти в младенческом возрасте и крестил.

Впоследствии, когда, уже в недавние годы, он вышел в отставку и вернулся в родные места, то выдал её замуж за одного из своих племянников отписал ей в приданое маленький флигель, в подклете коего находилась сейчас Франкоянну, приличные земельные угодья и немного наличных денег, пообещав оставить в наследство и господский дом, и всё прочее, что осталось бы после его смерти.

Зять же, народивший с супругой одного ребёнка, всё время пребывал в разъездах. Он служил боцманом на кораблях. То был известный моряк, но повеса и мот. На сей раз его возвращение на родину откладывалось вот уже три года. Между тем старый кир-Анагностис овдовел, и падчерица в отсутствие мужа прислуживала в доме приёмного отца, как привыкла с детских лет. Супруг временами писал ей письма, обещая вернуться, но не возвращался. Дочке Марусы уж исполнилось четыре года, но отец ни разу не повидал дитя, а дитя не знало облика своего отца.

В ту пору, благодаря развитию торговли и путей сообщения, нравы в маленьком, отдалённом местечке начали несколько раскрепощаться. Гости, прибывающие из других, «более культурных», областей Греции, — будь то правительственные служащие, будь то торговцы, — несли новые, вольные воззрения на любой счёт. Стыдливость и застенчивость они называли глупостью, воздержанность и благоразумие — простофильством. Распушенность и разврат назывались у них «вещами естественными». Маруса же, не бывшая местною уроженкою, изначально не отличалась особыми строгостью и целомудрием: некая доля легкомыслия в ней была.

На острове находились тогда: некий секретарь мирового суда, холостяк, в фустанелле; некий секретарь портового управления, в портках, чиновник финансового ведомства, молодящийся старикашка; некий жандармский вахмистр, фатоватый, с тонкой талией и завитыми усиками; некий таможенник, чей доход втрое превосходил его же собственное жалованье; наконец, двое-трое агентов иностранных торговых домов и другие приезжие. Все они водили дружбу ещё с парой-тройкой молодых коммерсантов, франтов, чья речь была пересыпана множеством древнегреческих «мудрёностей» и «любезничаний». С этими последними вынуждены были частенько общаться многие местные женщины, в том числе и благоразумные, по причине своих неизбежных и нескончаемых покупок, от которых женский мир не избавится никогда.

Избегнуть всех ловушек, разбрасываемых у неё на пути, всех осадных машин, расставляемых у её стен перечисленными деятелями, Марусе не удалось: спустя некоторое время, в отсутствие супруга, она забеременела. Поняла это она лишь на третьем месяце. Но ещё до того, как она обнаружила свою беременность, вся округа, как водится, уже прознала о сём событии — быть может, даже раньше, чем оно произошло. Один лишь кир-Анагностис пребывал в неведении. «Ему хоть плюй в глаза», — сказала тогда ехидная Коккица, одна из соседок, — «всё божья роса».

Находились и злые языки, поговаривавшие без малейшего на то основания, что кир-Анагностис, как и следовало ожидать, прибежал к древнему методу Давида и посредством юного дыханья и горячей крови рассчитывал «омолодиться». Но пресловутая Коккица с парочкой соседок, переговариваясь шёпотом и тихонько пересмеиваясь между собой, утверждали, что, якобы, «ребёнка-то зачали на паях»: голова, дескать, будет от секретаря, что ходит в фустанелле и в огромной феске с длиннющей кисточкой, талия, конечно же, выйдет от волокиты-вахмистра, одна нога (в яме!) от старого хрыча в портках, одна рука (загребущая!) от таможенника, а другая рука (хваткая!) — от галантерейщика с «мудрёностями».

Упомянутая Коккица первую получила секретное приглашение от Марусы (заметим, что последняя, хотя и казалась простодушною, сообразила, что Коккица уже давно питала некие подозрения, и потому проявила к ней притворную, вымученную доверительность, дабы ей польстить, и надеялась убеждением и подарками заставить её замолкнуть) — получила, стало быть, приглашение и была посвящена в тайну. Маруса, восклицая, что «как сестра родная ей будет, пусть Господь её наградит», повисла у неё на шее и умоляла сжалиться, ежели та только знает какое-нибудь средство избавиться от плода греховной страсти, чтобы Бог над нею смилостивился! Потому как иначе она, конечно же — зачем мыкать такую жизнь? — бросится в прибой и утонится, благо море было совсем близко, у самого дома. Коккица успокоила её всяческими утешительными словами и начала пользоваться разнообразными мазями и пластырями, которые нисколько не помогли.

Следом были приглашены Стамато, нищая вдова, и её сестра Кондило, обе говорившие по-албански, родом с какого-то острова в Сароническом заливе. Они мазали тело несчастной женщины притираньями. Всех трёх она вознаграждала тем, что могла украсть из сбережений кир-Анагностиса, и они продолжали готовить мази, приносили новые притиранья, но всё безуспешно.

По вечерам они втроем заходили во двор кыры-Фомаи, находившийся через несколько домов, куда являлись и старуха Хьоно, и тётка Киранно, македонские переселенки 1821 года, и судачили. Каждый вечер троица давала краткий отчёт кире-Фомаи и двум старухам; затем они, все вместе, хохотали.

Ломаный греческий Стамато, описывавшей положение беременной («Она же коротыш! Даже нога коротыш у ней!.. Сама выкинет, никак!..») преумножал их веселье. А старуха Киранно сопровождала доклады Стамато замечаниями на македонском говоре:

— Таки дёвки — что дрянны кобылы!.. Козюли, тьфу... На селе-та ей ужо задали бы! Кака дёвка натворить чаво, дак отвезуть на ярмарку, со скотиной продадут!..

Последнею была приглашена Франкоянну, мудрейшая по сравнению с остальными. Маруса начинала разочаровываться в трёх предыдущих «лжезнахарках» и прибегла к ней в последней надежде. И действительно, своими зельями, своими снадобьями, горячими и холодными настоями, которыми она потчевала страдальцу, притираньями, кои она готовила со сноровкою, весьма превосходящей предшественниц, Франкоянну смогла за несколько дней вызвать выкидыш. Кир-Анагностис так ничего и не узнал.

Такова была старая услуга, благодарность за которую упоминали сегодня две женщины. Таковы были «былые мытарства» Франкоянну, таковы были «беда» Марусы.

Воспоминание завладело мыслями Франкоянну на всё то время, что она пролежала на софе, во мраке: хозяйка не принесла ей светильника, только оставила одну свечку и немного спичек. Старуха раздумывала обо всей этой старой истории, и сон не шёл к ней. Изучая своё сознание, она понимала одно: и то, что она содеяла тогда, и то, что содеяла сейчас, было содеяно с добрым намереньем. Она сворачивалась калачиком под шерстяным покрывалом, лёжа на правом боку, склоняла голову к груди, пытаюсь задремать, забыться, провалиться в сон. Впервые за многие годы

вспомнила она и краткую молитву, повторять которую как можно чаще требовал некогда один её старый духовник: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя».

Многочисленное повторение молитвы подействовало: Хадула забылась на несколько минут и уснула. Но, невзирая на это, сквозь сон или наяву (она толком не понимала) ей мерещилось, будто внутри неё, в недрах её души, слышался младенческий голос, плач, протяжное хныканье; оно было похоже на голос её маленькой внучки, несколько месяцев назад... скончавшейся от её руки.

Старуха пробудилась в ужасе, содрогнувшись всем телом. Она приподнялась, чувствуя сильное потрясение, но вместе с тем и гораздо большую телесную бодрость. Краткий сон избавил её ото всего нервного и беспокойного. Пошарив в потёмках, она нащупала спички, зажгла свечу, взяла свои ключи и корзину, положила внутрь башмаки и, необутая, в одних носках, собралась уходить.

XII

Маруса дала ей ключ от маленького подклета, наказав выйти через особую дверь, ведущую на улицу, запереть её снаружи и взять ключ с собою, дабы вновь использовать его на следующую ночь, ежели суждено будет возвратиться. Сама же она, если бы возникла необходимость спуститься в подклет, попала бы туда тем путём, по которому привела свою гостью: по внутренней лестнице и через дверцу в перегородке.

Франкоянну и в действительности чувствовала теперь сильную хандру: тесный подклет с его волглым воздухом тяготил её. Наступил час надыхаться горным ветром, пока преследователи-жандармы не заперли её, — быть может, пожизненно, — в сыром и бессветном подземелье человеческого правосудия.

Она вышла. Глубоко в недрах её души ещё хныкал тоскливый голосок младенца, невинно убиенной крохотной девочки. Старуха остановилась в дверном проёме, осторожно выглянула наружу, посмотрела направо, налево, вверх, вниз по улице: она не увидела ни души, ни тени, и пустилась наутёк.

То был не первый раз, когда она слышала в глубине своего сердца, где звук отдавался тёмным пещерным эхом, этот скорбный младенческий плач. И она верила, что убегает от опасности и от бедствий, но уносила с собою бедствие и рану. И ей казалось, будто она избегнет темницы и подземелья, но темница и Ад находились внутри неё.

Было около двух часов пополуночи. Безлунная, звёздная ночь. Начало мая, вторая неделя по поздней Пасхе. Природа благоухала, воздух источал миро. Редкие неспящие птицы пели на ветвях свою заутреню. Франкоянну двинулась по тропинке, хорошо ей известной, узенькой и петляющей за огородами и под скалами. Тропинка едва виднелась в звёздном свете, частично скрываемая ветвями кустарников и побегами ежевики, выбивающимися сквозь садовые изгороди. Проворная старуха ступала по траве и по ромашковым зарослям, по зелёным колючкам, и подымалась по крутой тропинке походкою девушки, юной горной пастушки.

Уж закончилась долгая череда садов и огородов по её правую руку; по левую руку ещё тянулся невысокий скалистый холм, Котронья, о трёх живописных вершинах, возвышающихся одна подле другой и увенчанных ветряными мельницами, маленькими белыми хижинами и домишками, вползающими вверх по склону. Здесь начинались виноградники, уголья с плодовыми деревьями, пока подъём был ещё отлогим, а затем, оттуда, где склон становился отвеснее, шли оливняки или поля с рослыми колосьями, колеблемыми ночным ветерком. Франкоянну, с лёгкою одышкой, всё бежала и бежала, охлёстываемая по лицу встречным береговым бризом, изнеженным предрассветным чадом Борея.

Она спешила добраться как можно быстрее, пока не занялся день, до хорошо известной ей местности. Близ северных

побережий острова существовало множество тайных, нехоженых мест с пещерами и утёсами, где произрастали дикие травы и каперсы, и серпник, и солонец¹⁴, а немногочисленные торные тропы были ежедневно разрушаемы стадами коз и козлят. Там она нашла бы убежище: там, где жили воспоминания её детских лет. На этих северных берегах, близ сурового лазурного моря, в старой Крепости, воздвигнутой на исполинской истерзанной прибоем скале, — там и родилась Хадула, и там она воспитывалась до десятилетнего возраста.

Потом, когда наступил мир и был построен новый городок у южного залива, её мать, ведьма, столько раз подвергавшаяся преследованиям клефтов и разбойников, частенько приводила её в эти края: она показала ей все тайники, все неприступные утёсы и гроты, и о каждом из них рассказала по истории, выдуманной или правдивой. Когда Хадулу выдали замуж, “обабили” и “в гроб заживо свели”, по выражениям её матери, в этих же местах отписали ей и приданое — дом в обезлюдевшей Крепости и огород в Бостани, на отвесном обрыве. А после, когда стала она хозяйкою и научилась многому, и наторела в женской мудрости, и завела обычай собирать по горам и по лесистым склонам целебные травы, жабник и клещеницу, то частенько забредала в эту местность ради своих разысканий.

Итак, туда направлялась она и сейчас, — если только Богу было угодно, чтобы она добралась невредимою, — но при куда более страшных обстоятельствах. А что будет уготовано ей после того? Одному Господу ведомо.

Ещё не достигнув того места, где начинался крутой подъём, — проходя мимо чьего-то сада, огороженного зарослями густого ежевичника и высоких кустарников, а отчасти каменною оградой, за которой росло множество видов плодовых деревьев, — Франкоянну, как на беду, оступилась на тропинке и произвела некоторый шум, чуть не свалившись в один из кустов. Она издала короткий вскрик, похожий на стон, и в тот же самый миг услышала совсем недалеко от себя, но по

¹⁴ Съедобные травы.

ту сторону изгороди, громкий собачий лай. Старуха выпрямилась и быстрым шагом продолжила свой путь.

— Кто бы это мог быть? — произнесла она про себя.

Тут раздался голос — хриплый и сонный, но резкий.

— Эй, там! А ну брысь отсюда! Марш!.. Марш!

Старуха узнала голос Тамбураса, сторожа. Теперь ей стало ясно, что происходило. Сад, у чьей ограды она споткнулась, принадлежал тогдашнему городскому голове. В ограде же, среди прочих деревьев, росло и несколько черешен, с плодами уже почти спелыми и налитыми, черневшимися в звёздном свете, среди тёмно-зелёной листвы. Тамбурас же, которому было нечего больше сторожить, потому как пора плодов и овощей ещё не наступила, спал в бурмистровом саду, в маленькой хижине, вместе со своею собакою, и стерёт черешню, дабы её не разворовали местные жители, подопечные господина.

Отдаляясь, она ещё слышала собачий лай; вместе с тем, она “обослухалась” и ей почудилось, будто до неё донёсся звук человеческих шагов. Но то был обман слуха. Быть может, то были отзвуки и эхо её собственной ходьбы. Судя по всему, садовый сторож лишь наполовину пробудился и машинально, как при лунатизме, издал свой привычный окрик. Затем он снова уснул.

Хадула скрылась за деревьями на склоне холма. Там она на мгновение остановилась и напрягла слух. Ничего не было слышно, кроме птичьего щебета, жужжания какого-то ночного насекомого и дуновения ветра. Ей пришли на ум черешни, которые она успела разглядеть, тускло поблескивавшие на свесившейся ветви, немного выступавшей из-за забора бурмистрова сада, где ей случилось споткнуться, — и она сказала себе:

— Ах! И чего ж я не сорвала черешенку, хоть бы рот промочила, а то будто ядом жжёт... И глоток воды-то выпить забыла, когда уходила... Пойду до родника, что ж!..

Только сейчас она вспомнила, что не выпила воды, собираясь уходить из маленького подклета, где провела недолгие, но столь длительные и тревожные часы. Хадула подумала с горечью, что всё — даже сущие мелочи — приключалось с нею на этом свете невпопад и шиворот-навыворот. Если бы она заранее задумала украсть несколько черешен из сада городского головы, то ступала бы с осторожностью, приближалась бы осмотрительно, и тогда, вероятно, ни сторож не проснулся бы, ни пёс не залаял бы. Но из-за того, что она пребывала в рассеянности и думала о другом, из-за того, что не смотрела толком, где находилась, — из-за того она и споткнулась, и произвела шум, коего хватило, чтобы разбудить и собаку, и человека. И всё-то в её жизни случалось так!

Кроме того, жажда её усилилась от крутого подъёма в гору. Она сорвала несколько оливковых листков и положила их в рот.

Так она шла ещё час. Уже рассветало. Добравшись до вершины холма, она спустилась в распадок, к подножью горы со складчатыми склонами, называемой Дозорной. Видимо, какие-то клефты в давние годы бессонно караулили там врага, и от них гора получила своё имя. Старуха дошла до маленького родника у основания горы. Уже было светло. Она напилась воды, утолила жажду и сразу же двинулась дальше. В этой округе бывало много людей, — пастухов, захожих и прочих. Янну же хотела, насколько то было возможно, оставаться незамеченной. Она спустилась ещё немного и вошла в глубокий распадок, ведущий к морю, именуемый Лехуни.

К нему она добралась незадолго до восхода солнца. Поодаль находились две- три водяные мельницы, уже ветхие и бесполезные, из которых только одна ещё работала, и то изредка. Всё указывало на полное запустение; человеческих следов было там не видать. Франкоянну, из лишней осторожности, не решилась приблизиться. Она обогнула это место, прошла густолесьем и вышла к глубокой бочаге с

прозрачной водой, известной лишь немногим, — месту малоизвестному, потайному. Там существовало подобие грота, образованное зеленью, стволами деревьев и плющом. Пещера нимфы, дриады древних времён или наяды, нашедшей, может стать, прибежище в этих краях.

Чтобы спуститься в маленькую земную выемку, где находилась бочага, человек должен был иметь такую же преследовательницу-судьбу и такие же ноги, как Франкоянну, — ноги необутые, исцарапанные, искровавленные колючками и крапивой. Там старуха присела передохнуть. Она вынула из своей корзины хлеб, сыр и небольшой кусок мяса, которыми угостила её Маруса: вечером, после кофе, выпитого на кухне, она не смогла ничего съесть. Про запас оставила она только сухари, взятые из дома дочери, Дельхаро. Поев и выпив прохладной воды, старуха испытала некоторое облегчение. В эту минуту взошло солнце. Показался его диск, поднимавшийся из волн, впереди, в далёком море, чью полосу видела Хадула из своего укрытия. Сипы, обитавшие на горе, каменной и звучной, воздвигавшейся за её спиной, разразились громкими криками, и птички, жившие в долине, в чащобе, во всём небольшом лесу, издали радостные трели.

Горячий луч, протянувшийся издалека, с пылающего моря, пробился сквозь густую листву и плющ, покрывавшие убежище измождённой старухи, и заставил заблестеть россыпью жемчугов утреннюю росу, увлажнявшую богатые изумрудные ризы, и обратил в бегство весь озноб сырости и весь холод бледного страха, принеся временные надежду и уют.

Янну достала из корзины шерстяное покрывало, сложенное несколько раз, развернула его, закуталась и склонила голову на корень древнего платана. Так она и уснула.

Ей привиделось во сне, будто она была ещё молодою: будто отец и мать выдавали её замуж, как в действительности выдали замуж и “заживо в гроб свели” в те времена, и отписывали ей приданое, отдавая и отцовский огород, где она маленькою окучивала и поливала капусту и бобы; будто отец хотел угостить её в награду за труды и предлагал ей “четыре головы”,

то есть четыре кочана капусты. Хадула с радостью взяла растения в руки, но когда взглянула на них, то увидела — о, ужас! — четыре маленьких мёртвых человеческих головки...

Она содрогнулась, подскочила, сказала “Господи Иисусе Христе!..” Затем снова уснула. Ей виделось, будто мать застигла её с поличным, разыскивающую узелок в подклете, среди бочек, корчаг и наваленных грудями дров; увидевши её, мать жёлчно ухмыльнулась — своей обыкновенною ухмылкой — и, якобы желая избавить её от лишнего труда, собственноручно вынула из узелка, где лежало столько монет, — затутого, как собачья привязь, — и подарила три германских талера, три “императрицы”, из тех, на которых был отчеканен и образ Богородицы с надписью «Patrona Bavariae». Франкоянку с радостью, перемешанной со стыдом, приняла три монеты из рук своей матери, но, едва посмотрев на них, обнаружила, что эти три монеты, повернутые лицами вверх, сами были тремя крохотными бледными личиками с погасшими глазками... О, страх! Личиками маленьких девочек.

Она проснулась — перепуганная, несчастная, ошарашенная. Был уже полдень. Солнце пылало у неё над головою, над макушкой тенистого платана. Невзирая на всю ласку солнечного света, на всю яркость майского дня, впечатление ото сна ещё долго сохранялось в её сознании. Более того, ей казалось странным, что она увидела эти сновидения среди бела дня. Сколько бы раз за всю жизнь ей ни случалось дремать в дневные часы, она не могла припомнить, чтобы хоть раз видела сны.

Она намочила в бочаге два сухаря, положила их на плосковатый камень подле края ямины и надолго оставила там, пока они не размякли от влаги и не разопрели. Через некоторое время она собрала мякиш в пригоршню и съела его.

Когда солнце скрылось за вершиною скалистой горы, ложбину окутала тень и уже близился вечер, Хадула затосковала и высунула голову из своего убежища. Она оглядела сверху донизу долину, усаженную оливами, но не увидела ни души. Тогда она решила взять свои корзину и

клюку, выйти из маленького грота, подняться к лесистым зарослям, потихоньку двинуться вдоль распадка и вновь заняться своим давним ремеслом, сбором трав, — хотя она и не знала теперь, где они могли бы ей пригодиться, раз в мире больше не оставалось для неё иного приюта, помимо темницы и каземата.

Она всё же питала неопределённую надежду, что могла бы найти пристанище на чьём-нибудь дворе или в пастушеской хижине, и тогда преподнесла бы травы супруге хозяина как скромное вознаграждение. Но прежде всего она собирала бы их, чтобы избавиться от тяжёлого уныния, терзавшего её душу.

Тут она услышала отдалённый перезвон колокольцев и сразу же увидела приближавшееся издали стадо. Она мгновенно подумала, что, ежели не успеет вовремя выйти из маленькой расселины, её укрытие вскоре будет обнаружено. Ведь если многочисленные козлята или ягнята разбегутся во все стороны и пойдут на водопой к большому ручью, текущему выше по склону вплоть до запруды, а затем под мельницей, то некоторые из них, конечно же, спустятся и к маленькому ручейку, протекающему подле бочаги. Потом скотина испугается, встрепетается, помчится обратно вскачь, — и пастух, кем бы он ни был, обнаружит старуху, изумится и, вероятно, что-нибудь заподозрит.

Лучше всего было бы выйти пастуху навстречу, с неизбежным притворством и с ложью на устах. Тем более, было вполне вероятно, что этот захолустник уже много дней не получал известий из города и ничего не знал о преследовании, коему подвергалась Франкоянну.

XIII

И действительно: вскоре после того, как Янну выбралась из своего укрытия и пошла распадком, то и дело наклоняясь к земле и ища целебные травы, к ней приблизилось стадо овец,

смешанных с козами, а следом показался и сам пастух. Янну сразу опознала его: то был Яннис Лирингос.

Едва завидев старуху, он закричал издалека:

— Какими судьбами, тётя Гаруфалья? (Лирингос узнал её лицо, но, по-видимому, толком не помнил имени.) Слава Богу, что ты мне встретишься!.. Бог тебя послал!

— Что за дела? — подумала Франкоянну. — Хочет мне сказать что-то. Видать, ещё не слышал мужик о моей беде.

— Слыхала уже, тётя Гаруфалья? — повторил Лирингос, подходя ближе.

— Ты про что, сынок? — лицемерно спросила Франкоянну, не выводя собеседника из заблуждения насчёт её крестильного имени, а затем прибавила: — Я ведь вчера ещё ушла из села-то. Пришла вот травы по оврагам собирать.

— Так ты послушай, тётя Гаруфалья, — повторил человек простодушно, — у нас же вчера дитё родилось, в хижине.

— Дитё родилось?

— Народилось! Третья девчурка уже за пять лет... одни девки, беда!

— Дай Бог здоровья! — сказала старуха. — И жёнушке добрых сороковин!

— Только дитё-то хворым на свет явилось: всё плачет, титьку не берёт... И матери, бедной, нехорошо... Всё лихоманка да немогота, беда!

— Да ты что?

— Ты бы сделала милость, зашла бы к нам в хижину, познахарила бы, а, тётя Гаруфалья?.. Тёща-то моя ничего не смыслит, чего с неё толку...

— Да ведь сейчас стемнеет уже... — притворно отвечала Франкоянну.

Про себя же она говорила: “Такова теперь моя доля, видать! Ох ты ж Господи!”

— Пущай темнеет... Коль захочешь, в хижине поспишь.

Франкоянну медлила, как бы раздумывая. В действительности же она была готова согласиться.

В эту самую минуту, когда последний луч солнца золотил макушку восточного холма с его обильными оливняками и тускло отблескивал в оливковой листве, показались два человека, приближавшиеся бегом по тропинке меж двух оливняков.

Франкоянну увидала их первой и испугалась. Солнце, освещавшее листву, заставило засверкать даже пуговицы мундиров, давно не начищавшиеся до блеска. То были жандармы.

Франкоянну тут же развернулась задом к Яннису Лирингосу и побежала к основанью скалистой горы, к западу.

Пастух крикнул изумлённо:

— Тётя Гаруфалья, ты куда?

— Молчи, сынок! — прошипела ему перепуганная женщина, — Христа ради, молчи! Регулярные идут!.. Не говори, что ты меня видел!

— Регулярные?

— Не выдавай меня, сынок, а то мне конец! Тихо!.. Коли спасусь, ночью приду к вам в хижину...

И старуха, скинув свои босовики, которые она надела, когда вылезала из ямины, и бросив их в корзину, начала карабкаться вверх, легко переступая необутыми ногами, с корзиной на левом локте, с клюкою в правой руке, — по отвесному склону,

куда могли взобраться только козы, что паслись вместе с овцами Лирингоса.

Через какие-то мгновения, поднявшись на высоту в несколько саженей, она скрылась за первой же выступающей скалой и перестала быть видимой.

Сразу после того двое жандармов, которым, чтобы оказаться на месте, требовалось спуститься по склону и пересечь распадок через густые заросли, — и это обстоятельство поспособствовало бегству Франкоянну, — подбежали к Лирингосу. Пастух тем временем следил за своими козами и овцами, крича им “Быр! Быр!.. Гей-гей!” Он пытался собрать их и погнать к склону, чтобы отвести на южную грядку, где находилось его становище.

Двое мужчин поприветствовали Лирингоса. Затем они спросили, не видал ли он “ту дрянную бабу, как бишь её, Франкоянну”.

Лирингос отвечал, что нет. Один из жандармов обругал пастуха.

— Брешешь! Я её видел!..

Он настаивал, что видел тень, “стеня” или “пастеня”, как он говорил, старухи, взбирающейся, ровно кошка, вверх по обрыву. Второй жандарм ничего не заметил и ничего не утверждал.

Тогда первый, не снимая башмаков, попробовал вскарабкаться на скалу. Через три шага он оступись и свалился вниз, слегка ударившись коленкою.

Там, куда поднялась Франкоянну, высилась гора Курупис — северная, скалистая, неприступная, чьи подножья целовала и хлестала морская волна. Оттуда открывался вид на берега Македонии, на Халкидику и на великий Афон.

Местечко же, в которое забралась преследуемая женщина, звалось Ракушка. Человеческая нога редко ступала там. Лишь если какая-нибудь коза отбивалась от стада и “застревала” на

скале, не могущая возвратиться, — тогда только пастух дерзал вскарабкаться на отчаянную высоту. Франкоянну обнаружила маленькую пещеру, выходящую к морю, — это и была так называемая Ракушка, — и свободно уселась в её нише. Она была почти уверена, что преследователи не добрались бы до этого места. Если же кто-то из них и оказался бы настолько “бедовым”, чтобы отважиться и суметь взобраться на скалу, у Франкоянну был готов “план отступления”. Она знала и другую тропу, пролежавшую по двойной вершине каменистой горы, меж двух скальных гряд: она, известная только местным пастухам, вела прямо к их дворам и жилищам.

Старуха сидела в скальной нише. Под ногами её звучали гул и напев прибоя, а над головою слышались клёкот орлов и крики ястребов. Когда спустилась ночь, бескрайнее небо озарилось звёздным сияньем, и благоуханный воздух способен был пролиться бальзамом даже на “мытарства” этой женщины. Ракушковидная пещера находилась над водою на высоте в три человеческих роста, но скала до самого низа была столь отвесною, что ни один “смертный муж” не смог бы подняться или спуститься по ней. Место это было пригодно лишь для того, чтобы броситься в море и утонуться, если бы кто-либо на это решился.

Старуха вынула из корзины немного сухарей из тех, что у неё ещё оставались, оливок, сыру, и поужинала. К счастью, фляга с водою была полна: перед закатом она наполнила её из бочаги.

Она закрыла глаза и принялась убаюкивать себя самоё, напевая вполголоса песню, схожую с причитанием, но сон не шёл к ней. Вновь явились страхи и призраки, вновь начали осаждать её. Это хныканье младенца она часто слышала в глубине своего нутра. Напрасно она пыталась заглушить его плач жалостливою и раздумчивою песнею, которую бормотала:

*Хочу я, матушка, пойти, поехать на чужбину,
да повидать издалека врата моей судьбины.*

*Во царство Доли бы сойти, во тёмное ступить бы,
да встретить долюшку свою, да у неё спросить бы...*

Ей подумалось, что “регулярные” могли разыскивать её даже ночью. Вдруг они поднялись в гору, к пастушьим дворам, и остались там ночевать?.. Разве не было у пастухов молодого сыру, разве не было молока и простокваши, а то и курей, которых можно было, свернув им шею, изжарить на самодельном деревянном вертеле? Вдруг какой-то из пастухов поддастся на уловки жандармов и покажет им тайную тропу? Разве не будет ей отрезан тогда путь к отступлению? Спускаться же прежней дорогою будет бесконечно труднее, чем подниматься, если только на ногах у неё не вырастут крылья и она не взлетит...

Ей было крайне любопытно, что сказали Лирингосу двое “регулярных” и что он им ответил. Хижина Лирингоса, как она знала, находилась на гряде, за горою, и пути до неё было около двадцати минут. Теперь, конечно, Лирингосу уже стало известно, из-за чего её хотели арестовать и в каком деянии обвиняли. И с каким лицом она явится теперь в эту хижину? Но, вероятно, он ночевал не в хижине, а при своей скотине, в загоне, располагавшемся где-то поблизости, не очень далеко. Тогда она встретит в хижине двух женщин, роженицу с её матерью, и, чего доброго, перепугает их... Как же быть? Какое решение принять?

Старуха впала в забытё и, не засыпая окончательно, видела сны. Ей мерещилось, будто она находилась совсем в другом месте. Близ святого Иоанна Тайного, — того, что исцелял тайную боль и принимал покаяние в тайных прегрешениях, — вот где оказалась она внезапно. Пред собою она видела сад Периволаса, с запертою в хижине хворою женщиной; видела калитку в садовой ограде, колодец, водоскоп, колодезный ворот. Затем она отчётливо услышала доносившийся из водоскопа низкий-пренизкий потусторонний гул. Вода волновалась неистово, как при буре, гудела и почти говорила человеческим голосом. Старуха ясно разобрала слово, произносимое той говорящею водой: “Убийца!.. Убийца!..”

Она вздрогнула в ужасе, проснулась и задала себе самой, как в горячем бреде, странный вопрос: “Кабы знать, утопленная-то кровь тоже кричит, как и пролитая?..”

После того она немедленно пришла в себя и попыталась вновь произнести успокоительные слова молитвы: “Господи Иисусе...” Но в тот же миг ей вспомнился тропарь, который она часто слышала в юности от одного старого священника: “Иисусе сладчайший Христе, Иисусе долготерпеливе!”

Сразу же она вновь погрузилась в сон, глубокий и более продолжительный. Ей снилось нечто наподобие того, как если бы она заново проживала всю свою прошлую жизнь. И, удивительным образом, в этом сновиденье являлись ей и обрывки снов, увиденных в предыдущие дни. Теперь ей мнилось не то, как она выходила замуж и получала приданое, но как будто она родила, и как будто все три её дочери были с нею рядом одновременно, — Дельхаро, Амерса и Криньо, крохи, почти ровесницы, словно они были тройнею. Все три девочки, взявшись за руки, стояли пред нею и просили ласк, объятий и поцелуев. Внезапно лица их, преобразившиеся, перестали быть похожими на лица трёх её дочерей, обрели черты трёх утопленных девочек, — и они, как ожерелье, повисли у неё на шее.

— Я Матула, — говорила одна. — А я Милсуда, маненькая, — лепетала вторая. — А я Ксенула, — произносила третья. — Поцелуй нас! — Обними нас! — Мы твои дочки! — Ты нас родила, ты нас породила! — Родила... на том свете, — добавила Ксенула саркастически. — Попляши с нами! — Дай ням-ням! — Уложи нас баиньки! — Спой нам! — Погляди на нас!

О! Ведь и правда: происходившее казалось ей столь естественным! Эти три девочки были её детьми! Эта живая человеческая связка — мёртвая, тяжкая от воды, покрытая пеною!.. Неужто хватило бы сил старой Хадуле всё время носить это жуткое ожерелье, висящее у неё на шее!

Она проснулась в ужасе и бреде, поднялась, взяла свои клюку и корзину и решила уходить. Здесь, в полый скальной выемке,

среди гула пустынного прибойя, жили призраки. Место было проклято. “Пойду-ка я и отседова!”

В то же время на ум ей пришли и другие мысли, более положительные. Ежели случилось так, что жандармы обнаружили тайную тропу, то лучше всего было бежать, предупреждая опасность, а если бы они повстречались старухе на пути, то она нашла бы, вероятно, проход за каменной грядой; будет гораздо хуже, если жандармы застигнут её в этой теснине, в Ракушке.

Она побежала по тропинке в гору, в звёздном свете, меж скал, и через полчаса, задыхаясь, примчалась к домику Лиригоса. Сперва она остановилась передохнуть, а затем стукнула в дверь.

Уверена она была лишь в одном — что двое “регулярных” находились где угодно, кроме как в этой хижине с роженицей и её матерью. Если они заночевали в горах, то, должно быть, остановились в одном из пастушьих загонов.

Старуха, тёща Лиригоса, не могла заснуть, как не спала в недавние дни и Франкоянну, пока ухаживала за роженицей, свою дочь. Она поднялась и спросила:

— Кто там?

— Меня Яннис послал, — отвечала из-за запертой двери Хадула, не называя своего имени, — родимнице познахарить.

— В такой час?

— Не могла я раньше придти.

— Где ж ты его встретила?

— Под горой в овраге, в Лехуни.

Старуха отодвинула засов и отворила дверь.

— Эти ничего ещё не знают, — подумала Франкоянну, — здесь мне покамест “с рук сойдёт”.

Едва ступив за порог, Хадула стала вести себя по-хозяйски. При свете лампадки, теплившейся пред старинною иконою-складнем, где в середине был образ Христа, а по сторонам различные святые, она прошла напрямик к очагу, расположенному подле лежавшего на полу тюфяка роженицы, и увидела, что огонь в нём почти угас. Янну принесла дров и хвороста из кучи, наваленной в углу, малую часть их бросила в очаг, подула и разожгла пламя. Затем она взяла ковш, стоявший на очаге, наполнила его водою, порылась в своей корзине, вынула два-три стебелька травы, положила их в ковш и поставила сосуд на огонь.

Следом, указывая головою в сторону роженицы, она тихонько сказала старухе:

— Ты её не буди... Как проснётся, тогда пуцай выпьет.

Женщина ответила кивком. Франкоянну продолжала раздувать огонь. Старуха, пребывавшая в замешательстве, хотела вновь спросить, как она оказалась здесь в такой час, но не решалась. Дочери её было худо после родов, и мать беспокоилась, как бы она не проснулась вдруг и не перепугалась.

Внучка — крохотный заморыш двух дней от роду, явившийся в мир на грехи и на страданье, — спала в своей колыбели, но дыханье её было тяжёлым и слышалось в тишине. Порою, когда сопение становилось громче и было видно, что дитя вот-вот проснётся и закричит, бабка убаюкивала его односложным “Лю, лю, лю, лю”; было похоже, что этот слог (который, судя по всему, был первым слогом от “люшеньки-люли” или от слова “люлька”) — этот слог, стало быть, повторённый множество раз, обладал странною властью и очарованием.

Время шло. Уж два раза пропели петухи. Стожары давно перевалили зенит. С противоположной вершины горной гряды, где находились другие хижины, населённые семьями пастухов, донеслось кукареканье. Ему немедленно ответили кукареканьем петухи в курятнике Лирингоса.

Роженица проснулась. Мать дала ей выпить снадобье, изготовленное руками Франкоянну.

— Терпи, доченька, — сказала она мягко.

— Откуда ты здесь? — спросила роженица.

Она смотрела на старуху с недоумением, затрудняясь опознать её.

— Бог меня послал! — уверенно отвечала Янну.

— Хорошо, что пришла, — объявила тогда старуха.

И действительно: она, хоть поначалу и растерялась, поразмыслила и признала, что присутствие Янну было единственным утешением в её одиночестве.

XIV

На первой утренней заре дитя проснулось и заплакало. Франкоянну снова принялась “командовать”. Она посоветовала роженице приложить младенца к груди, чтобы проверить, появилось ли у неё молоко. Тут снаружи послышался стук, а следом и голос:

— Старая!.. Старая! Спите, что ли?

То был Лирингос, и звал он свою тёщу.

Старуха узнала его голос, встала и побежала к двери.

— Выди, пособи мне, — кричал Лирингос. — Подпасок ушёл, я один тут.

Яннис, похоже, даже не подумал спросить о роженице, своей жене, и о здоровье своего ребёнка. Он лишь испытывал срочную нужду, и звал свою тёщу, чтобы та помогла ему с

утреннюю пастушескою работой — то есть, видимо, с выгоном овец, с дойкою, и так далее.

— Трудно одному-то, беда!.. Руки-то, чай, не четыре у человека! — прибавил он, как бы оправдываясь.

Старуха выбежала из хижины. Франкоянну осталась одна с роженицею и с младенцем.

Молодая женщина успела к тому времени вновь задремать и не заметила ухода своей матери. Но спустя несколько минут она проснулась и спросила:

— Кудысь матушка ушла?

Франкоянну, рассудивши, что роженице лучше всего было бы спать, дабы успокоиться, и зная, что ответы, даваемые больным горячкою или говорящим во сне, приносят больше вреда, нежели пользы, ничего не сказала. Вскоре роженица снова заснула.

Дитя опять захныкало, нежным и до невыносимости жалобным голоском. Франкоянну, уже успевшая забыть все угрызения совести, кои она до боли остро испытала под чёрными крылами своих сновидений, и вновь раздираемая когтями действительности, говорила про себя:

— Ах!.. Правду он говорит, Лирингос-то, бедняга... “Одни девки, беда, одни девки!”.. Какое облегченье было бы, что для него, что для его жены, горемычной, кабы дитё сейчас Господь прибрал!.. Это-то ещё совсем малое, большого горя по себе не оставит!..

Тут у неё возникла одна недоумённая мысль: где были другие дочери Лирингоса, старшие? Старуха вспомнила, что прежде чем войти в хижину, где она находилась сейчас, с низеньким подклетом и жилым этажом, она прошла мимо двери другой хижины, одноэтажной, построенной вплотную, впритык к первой. Это была хижинка старой тёщи Лирингоса, и Франкоянну показалось, что изнутри доносилось дыхание

спящих, похрапыванье. Конечно, там и спали, вместе со своею молодою незамужнею тёткою, остальные дочери Лирингоса.

Словно в безумии или в наваждении сна, она протянула руку к люльке, где ныло дитя... Пальцы она сложила так, чтобы они образовали подобие ухвата, удавки или крюка. В тот миг её переполняло злобное, радостное желанье задушить девочку... Ей подумалось, что дитя было некрещёным, и, убив его, она взяла бы на душу двойной грех... Эта мысль заставила её содрогнуться, но старуха решила преодолеть препону... Вся рука её, кроме одного пальца, ощупывала горлышко крохотного создания...

В этот момент с маленького хаята, снаружи, донеслись голоса, шаги, стук, и дверь, — которую старуха, тёща Лирингоса, не заперла на щеколду, уходя, но лишь прикрыла, — широко распахнулась, поддавшись толчку.

— Это здесь, — спросил появившийся человек, — это здесь дом овчара Лирингоса?

То был жандарм, в полурасстёгнутом кителе, вздувшемся на груди, в фуражке набекрень, с подкрученными усами и с шинелью, свёрнутой в скатку и перекинутой через левое плечо.

Одна-единственная лампадка тускло мерцала в хижине, пред иконами. Огонёк её вновь покрылся пеплом. Угасший светильник свисал с крохотной полочки над очагом. Было темно. Снаружи уже рассвело, и через пару минут должно было взойти солнце.

Человек не мог разглядеть ничего, кроме смутных теней. Видел он роженицу на своём тюфяке, как некую черноватую лежачую массу, видел младенца, шевелившегося и дышавшего в корыте, служившем люлькою... и Франкоянну, сидевшую, как привидение, и протянувшую руку к колыбели.

Франкоянну замерла с вытянутой рукою. Её охватили ужас, страх, головокружение. Но в долю мгновения она пришла в себя и осознала смертельную опасность.

Прямо за её спиной находилось небольшое оконце, выходящее на север, подгнившее, отсыревшее и плохо закрытое. Как если бы её сотряс некий взрыв, старуха механически развернулась, отворила окно и выскочила наружу. Упала она на траву и солому, так что удара от падения даже не было слышно. От низкого окна до земли было всего-то около полутора сажени высоты.

Она забыла, однако же, захватить свои клюку и корзину, хотя они находились рядом, на полу. Такая рассеянность с её стороны была достойна недоумения. Старуха вспомнила о них в ту самую секунду, когда кинулась бежать после прыжка, и ей мучительно хотелось вернуться и забрать их — если бы только существовал способ это сделать так, чтобы у её преследователей помутилось в глазах, чтобы они не увидали её.

Тем не менее, она всё бежала, бежала... вбежала в лес, чьи разнообразные тропки были ей хорошо знакомы. Назад старуха не оглядывалась. Она была уверена, что двое “регулярных” не сразу поймут, что произошло, и не сразу бросятся за нею вдогонку.

И вправду, два блюстителя общественного порядка поначалу не поняли, что случилось. Их “чрезвычайно срочно” отправил назад в горы мировой судья — сообщая с заседателем-полицейским, который, судя по тому, в чём успел проявить себя сей вдохновенный слуга Фемиды, на всё отвечал “да”, и с вахмистром, который никогда не говорил “нет”, — итак, он приказал им отправиться в пастушью хижину Иоанна Лирингоса, дабы пригласить его предстать перед властями, а при необходимости привести силою, поскольку вещи, рассказанные вчерашним вечером в городке двумя жандармами, вызвали у упомянутых светочей мысли подозрение, что Лирингос был замешан в деле о бегстве Хадулы, вдовы Иоанна Франкоса, промышленяющей надомною работою, христианки, которую двое военнотружущих видели взбирающейся по обрыву скалистой горы.

По этой причине двое жандармов немедленно, около ранней утрени, едва успев поспать два-три часа, — в полном

обмундировании, в служившем казармою нижнем этаже городской управы, где было полно тараканов, сороконожек и ящериц (казарма эта была страхом всех уличных мальчишек, всех отпетых буянов и даже всех государственных должников), — поднялись по первому свистку вахмистра, взяли свои шинели и отправились в горы.

Им было приказано привести Лирингоса (а вместе с ним и любого другого пастуха из допрошенных ими, который говорил бы “путаницу”, — позаботился добавить мировой судья), но прежде всего — обнаружить следы Франкоянну и разыскать её. Ради такого дела им дано было полномочие обыскать все загоны, все становища, и допросить всех горных пастухов. Потому-то они, на всякий случай, и взяли с собою шинели.

Когда первый жандарм толкнул дверь хижины, где царили тени и полумрак, он услышал стук открывающегося северного окна и увидел лучи света, врывающиеся через него, а затем некое чёрное тело загородило эти лучи, — согбенное, сжавшееся, расплывчатое, — и раздался слабый стук падения. Окно осталось открытым, и в двойных перекрещивающихся лучах света, из двери и из окна, он ясно увидел женщину, роженицу, лежавшую на своей постели.

— Да что здесь творится? — воскликнул человек в изумлении. Роженица проснулась и произнесла слабым голосом:

— Матушка, ты?.. Вернулась?..

XV

Наверху, на высоком плоскогорье, именуемом Камбья, куда примчалась Франкоянну, отдувающаяся и запыхавшаяся, она остановилась, оглянулась на склон, по которому бежала, и подождала, не покажется ли тень, не послышатся ли шаги несущегося за нею борзого пса, жандарма. Никто не появлялся. Но Хадула не чувствовала себя в безопасности.

Она замерла, погружённая в себя, и думала, производя нечто наподобие математического подсчёта. Она подсчитывала время, которое было бы, приблизительно, необходимо жандармам для того, чтобы оправиться от удивления (второго жандарма она не увидела, но догадывалась о его присутствии), чтобы понять суть произошедшего и, быть может, собрать сведения (роженица перепугалась бы понапрасну и не смогла бы им ничего рассказать; тогда, вероятно, они побежали бы к становищу, где находился Лиригос со своею тещею: это задержало бы их ещё более), чтобы поснимать шинели и броситься за нею вдогонку.

А вот заметили ли они, догадались ли, знали ли в точности, по какой тропе она побежала? Впрочем, разве она бежала всё время одною и тою же дорогою? Спрева она повернула направо, словно хотела побежать по склону вниз, потом поворотилась налево и побежала в гору — невзирая на главный недостаток, которым обладала дорога на подъём: на ней человеку, торопящемуся уйти от погони, легко было запыхаться. Но, коль скоро сама она запыхалась, разве эти двое, пусть и молодые, не испытали бы того же? Более того: Хадула знала, что один из юношей страдал астмою... Не так давно он просил её зятя сказать старухе, чтобы та приготовила ему какое-нибудь снадобье от этой болезни.

Но, несмотря на это смягчающее обстоятельство, Янну знала, что ждать милости от жандарма не следовало. Человек исполнял свой долг. Она прекрасно понимала, какой приём её ждёт, попадись она им в руки, хоть бы даже она и приходилась им крёстною!! Франкоянну давно уже заметила, ещё во времена тех злоключений и бедствий, что она снесла по вине своего сына, Муртоса: этот род людей приходит в особую ярость, когда разыскиваемый сопротивляется, когда дерзит, и ещё больше — когда пытается скрыться, так что приходится гоняться за ним с языком на плече... О! Конечно, тогда они имеют полное право ожесточиться и расшвырять, как звери: потому и Франкоянну, спасаясь бегством и вынуждая их бегать за собою, не ждала от них никакой пощады.

Так она стояла, задумавшись, пока не услышала шаги у себя за спиной, со стороны, противоположной той, откуда она пришла. Обернувшись, она увидела перед собою человека, пастуха. Франкоянну узнала его: называли его Камбанахмакис. Он приближался нетвёрдым шагом, сопровождаемый псом, который, едва увидев женщину, зарычал. Хозяин побранил его.

При виде Франкоянну пастух остановился. Шёл он из хижины к овечьему загону. Высокий, смуглый, тощий, с широкой грудью, с бородою и копною волос цвета палёной соломы, держащий в руке изогнутый посох длиною в свой рост, он встал напротив Франкоянну. Видно было, что человек этот пребывал в большой печали и в беспокойстве.

— А!.. От славно-то как! — сказал он хриплым, неразборчивым голосом, произнося слова сквозь стиснутые зубы. — Едва я тя припомнил, а тут ты и явилася, тётя Янну... Господь тя прислал!

— Что ты говоришь, сынок? — притворно спросила Хадула.

— Славно-то как, говорю, что я тя встретил! Думаю, иде ж бабенька та, с деревни, знатница, что травами разными лечит, порчь снимает! Едва ты припомнил, тут и ты навпротив идёшь!.. Да ты, никак, не слыхала ничего, тётя Янну?..

— Что случилось, деточка?

— В большое горе я попал, тётя Янну, Господи помилуй мя, грешного! Злая беда, лютая! Женёнка моя, не приведи те Бог, ночью из дому-то вышла, тётя Янну, а вернулась хвора, порченая... Выходила-то, здоровая была, а обратно вернулась совсем плоха, язык наружу, занемогла, не приведи те Бог... Язык наружу вылез, ажно до челюсти висит, слова не кажет, не могёт, злая лихоманка напала, зноб трусит, судорги... Лёжмя лежит, помирает!

— Правда?.. Ох, грехи наши!.. И когда ж это было?

— Позавчёра ночью, за полночь, тётя Янну! Не приведи те Бог, Господи помилуй мя, грешного... Выходила когда из дому-

то, здорова ить была, а вернулась плохая, порчь на неё нашла, ума решилася... Ты б сходила до дому, бабушка, раз я тя встретил, а, тётя Янну! Погляни на неё, послухай, какая напасть на неё напала... Дюже хорошее дело сделаешь: уж ты-то своими травами всю немочь враз снимешь!

— И как же её угораздило? — спросила Франкоянну.

— Кто наши грехи знает, тётя Янну! Один Господь знает.

Хадула задумалась на мгновение. Потом сказала:

— Ладно: сейчас схожу.

— Будь здорова, тётя Янну, и живи крепко, — сказал Камбанахмакис. — Господь тя послал.

Когда Камбанахмакис скрылся из виду, Франкоянну подумала, что теперь у неё, по крайней мере, появилось убежище на предстоящую ночь, и что днём ей лучше всего было бы спрятаться в каком-нибудь густолесье или в пещере, где жандармы не смогли бы её найти.

Она двинулась вниз по склону, спустилась в распадок, к ручью Агальяну. Остановилась попить воды из родника. Там ей встретился один старый монах, отец Иоасаф, садовник Благовещенского монастыря, скромные очертания которого вырисовывались на горе, над распадком.

Франкоянну присела, дабы перевести дух подле прохладного источника, поперла голову руками и, казалось, погрузилась в размышления; в то же время, она непрестанно “обослуживалась” и наостряла ухо: ей то и дело мерещилось, будто она слышала шаги жандармов.

Отец Иоасаф пришёл к источнику, чтобы набрать кувшин воды, и, увидев Франкоянну, поприветствовал её.

— Откуда ты здесь, матушка? Какая-то ты задумчивая...

— Ах, сынок!.. — сказала Франкоянну. — Беды да мытарства...

— Без бед в мире не обходится, матушка... Что бы человек ни делал, никак их не избежит...

— Ах! Батюшка Йоасаф, — промолвила в печальной рассеянности Франкоянну. — Была б я птичкой, улетела бы!!!

— “И рех: кто даст ми криле, яко голубине?” — ответил Йоасаф, вспомнив слова псалма.

— Как бы я хотела уйти из мира, батюшка!.. Сил нету больше терпеть!

— “Се удалихся бегая и водворихся в пустыни”, — сказал старец-монах.

— Уж такая гроза мне грозит, батюшка, что душенька ослабела.

— Господь пусть тебя избавит, дочь моя, “от малодушия и от бури”, — промолвил Йоасаф, продолжая псалом.

— От злобы-то, от зависти, от дурных языков не избавиться человеку...

— “Потопи, Господи, и раздели языки их: яко видех беззаконие и пререкание во граде”, — заключил отец Йоасаф.

Затем, наполнив свой кувшин, он сказал:

— Ежели будешь через сад проходить, матушка, позови меня: дам тебе салату и бобов немного.

И удалился.

Вечером Франкоянну находилась уже на Дальней гряде, в хижине Камбанахмакиса. Супруга пастуха, женщина лет тридцати или чуть старше, мать пятерых детей, лежала в постели. Положение её было жалким. Лицо перекошилось от

нервного паралича, язык вывалился изо рта, и она издавала нечленораздельные звуки.

— Как же тебя угораздило? — спросила её Франкоянну жестом, а может статья, и голосом. Больная ответила рёвом, в котором не было ничего человеческого.

Франкоянну уселась подле очага и принялась варить травы для страдальницы. Корзины у неё больше не было, но она принесла за пазухой разных мелких травинок, собранных днём в оврагах горных долин.

Две маленькие дочки больной сели у колен Франкоянну, ластясь к ней и требуя нежности. Янну потрепала их по подбородкам и по шейкам, с такою силою, что им стало больно и одна из них вскрикнула:

— Мама!

Но мать словно не существовала для них, и несчастные создания были ещё не в том возрасте, чтобы почувствовать утрату или, хотя бы, попробовать восполнить её. Мальчик, казавшийся погодком одной из девчушек, как если бы они были близнецами, хныкал и просил, чтобы “мамка встала и спекла ему оладушку”.

— Сейчас, сыночек, я тебе спеку оладушку, — нечаянно сказала Франкоянну.

— А у нас муки нету, тётя, — отозвалась старшая из девочек.

— Ну, ладно: придёт ваш отец, принесёт муки, — сказала Франкоянну мальчику, — тогда я тебе оладушку спеку! Посиди смирно пока.

Но мальчонка её не слушал.

— Хочу оладушку, большую, с патокой!

— Где я тебе патоки найду, сынок? — отвечала Франкоянну.
— Послезавтра, как виноград почернеет, мы его соберём,

оборвём с лозы, что недозрело, сварим много-много патоки, чтобы послушные детки покушали. Тебя как звать?

— Йоргис его звать, тётя, — сказала старшая девочка. — А тебя?

— Дафно.

— А тебя? — спросила Франкоянну младшую девочку.

— Анфи.

— Растите большие!

— А когда мы виноград соберём, тётя? — кричал мальчонка.
— Пойдём сейчас собирать!

— Не сейчас, сынок, скоро.

— Скоро-скоро? — спросил Йоргис.

— Да, сыночек. Нынче ночью нальются гроздья, а потом созреют, а потом почернеют, и скоро-скоро мы винарей позовём, пойдём в виноградник, оцциплем ягодки — щип-щип — зрелые, недозрелые, подавим их, помнём, и сделаем тебе тогда и пироги на сусле, и патоку, и всякую вкуснятину... а я тебе оладушку спеку, пребольшую, во всю сковороду!

— Большую-пребольшую! — сказал малыш.

— Большую, с меня! — сказала Франкоянну.

Тем временем одна из девочек, Дафно, переводившая удивлённый взгляд со светильника на Франкоянну и обратно, начала впадать в дрёму, точно заколдованная взором старухи, и, наконец, склонила головку к очагу и заснула. Янну настойчиво ласкала её подбородок, и рука старухи то и дело соскальзывала к горлу, порываясь, быть может, стиснуть шейку ребёнка сильнее. Но в этот момент снаружи раздались быстрые шаги, дверь отворилась и вошёл Камбанахмакис.

— Ты здесь, тётя Янну! — сказал он в крайнем волнении. — Вставай! Беги! Прячься!

— Что такое? — спросила старуха, стараясь выглядеть спокойной.

— Регулярные тя ищут! Чего ж ты набедокурила, христьянка? Вставай, беги! Спрячься иде-нибудь, бабушка! Жалью жаль тя, бедная! Что за грех на тебе?

— На мне-то? Много на мне грехов... Но знать не знаю, отчего меня регулярные ищут...

— Беги, они уже сюда идут. Не пойму, как они тя увидели, покуда ты шла, искать тя бегут! Зараз здесь будут! Слухай! Под гору беги, в Чёрную пещёру, в Гиблый овраг! Через Климу по тропе, до Птичьего ключа, там они тя, коли даже и близко подойдут, не поймают! А оттуда, коли хошь, смогёшь к старцу спуститься, в скит, грехи свои скажешь, бедная. Беги!..

Несчастливая побежала, но прежней бодрости она в себе уже не чувствовала. Бессонница минувших ночей, тревога, расстройство подкосили её. Места, упомянутые Камбанахмакисом, находились весьма далеко, и она не смогла бы добраться до них пешком в безлунную ночь.

XVI

В то время как старуха бежала прочь, поминутно “обослушиваясь”, пугаясь и воображая, будто отовсюду слышится топот ног, — с тропы, из-за деревьев, из кустарников, — внезапно раздался звук настоящего топота, донёсшийся с главной тропы, с расстояния около двухсот шагов. Хадула спряталась за кустом, и ей показалось, что она увидела жандармов, идущих к хижине Камбанахмакиса, в ту сторону, откуда она пришла. Раз дела обстояли так, её положение оказывалось куда более безопасным: теперь она не боялась снова повстречаться с ними этою ночью.

Она двинулась дальше, к местности, из которой пришла утром. Вскоре она приблизилась к маленькой церквушке Живоносного источника, к Монашьему погосту, к монастырскому току, затем прошла мимо монастырских конюшен, против железных ворот Общежития, наглухо закрытых. Впрочем, женщины никогда не входили в священный вертоград. Она спустилась в сад, где поутру повстречала инок-садовника, сказавшего ей разные изречения из Псалтири, смысла коих она не поняла, но неопределённо заподозрила, что они каким-то образом подходили к её положению. И действительно, они продолжали звучать у неё в ушах: “Кто даст ми криле, яко голубине?.. Се удалихся бегая и водворихся в пустыни. Чаях Бога, спасающаго мя от малодушия и от бури...”

Поднимаясь по склону противоположной гряды, высившейся за садами, над распадком, она услышала звон маленького монастырского колокола, нежный, смиренный и монотонный, от которого пробуждалось горное эхо и колебался мягкий ветерок. Стало быть, уже наступила полночь, час Полунощницы, час Заутрени! Как же счастливы были эти люди, столь быстро, с молодых лет, точно по Божьему вдохновению, постигшие самое лучшее, что они могли сделать — то есть, не производить на свет других несчастных!.. Всё прочее было не столь важно. Философию они словно получили в наследство, не утруждая ум “поисками истины”, которой никто ещё не находил.

Старуха поднялась выше по гряде, не имея никакой цели и не принимая решения, куда пойти. Вдруг у дороги, в нескольких шагах, она увидела становище, принадлежавшее, как она поняла, Яннису Лирингосу. Пёс, издав далеко почуявший её приближение, начал лаять.

Значит, она, сама о том не думая, подошла ко своему вчерашнему убежищу! И только теперь старуха начала об этом раздумывать. До того мгновения она руководствовалась чутьём. Теперь же мысли её стали ясными: “Где ещё мне теперь схорониться, коли не там? Регулярные ни в жизнь не поверят, что я снова пришла в то же место, где они меня вчера с

застигли и за мною погнались. Яннис спит в своём загоне. В хижине, стало быть, только родимница со старухой. Прошлой ночью, от расстройства и от спешки, я там свою корзинку забыла. Разве ж не будет лучше пойти да постучаться в дверь, да услужить им снова каким-нибудь зельем, а заодно и корзинку забрать, а уж когда рассветёт, тогда пойду и спрячусь под горою, в Гиблом овраге, как Камбанахмакис говорит..”

Конечно, старуха, тёща Лирингоса, успела услышать какие-то обвинения, — от жандармов или от прочих, — но так и что же?

Ей не достало бы ни злобы, ни смелости выдать Хадулу. Кроме того, в качестве основного предлога, чтобы войти в хижину, та сказала бы, будто пришла забрать забытую корзину.

Франкоянну сильно зябла от горного ветра и нуждалась хоть в каком-то временном крове. Она не раздумывала более. Пройдя по седловине, соединяющей две гряды, на южной из которых располагался загон, а на северной — жилище Лирингоса, она вышла к хижине.

Она постучала в дверь. Старуха спала, но тотчас пробудилась, поднялась и отворила, на сей раз не спросив, кто там, — оттого, быть может, что была она полусонною и действовала машинально, как при лунатизме, или же полагала, будто никто другой, кроме зятя, придти не мог. Франкоянну поспешила войти.

— Корзину-то я свою забыла вчерась, шибко торопилась, — сказала она. — Ты её не видала? Где она? Куда ты её подевала?

Старуха-крестьянка замерла и посмотрела на неё. Казалось, только теперь она окончательно проснулась и опознала гостью.

— Ты откуда тут? — спросила она.

— Не спрашивай, — отвечала Янну. — В другой хижине осталась ночевать, да заснуть не могла никак. Вспомнила про корзину, вот и пришла. Как вы? Как родимница?

— Да всё так же... Ты мне скажи, — немного помедлив, спросила старуха, — тебя зачем те регулярные искали?

— Зависть людская, — с готовностью ответила Франкоянну.
— Девчушка одна в колодце утопла...

— И-и?

— И уж не знаю какой враг им наговорил, будто я виновата... Вот скажи-ка начистоту, ты бы в такое поверила? Разве ж девчушка сама по себе утопиться не могла? Нужно было мне её топить?

— Ну!.. — отозвалась старуха.

Франкоянну устроилась, как и в предыдущую ночь, в уголке подле очага, где обнаружила и свою корзину. Она разожгла огонь, наполнила ковш водою и, вынув из-за пазухи целебные травы, принялась готовить отвар.

Роженица спала. Младенец шумно дышал в корыте, служившем люлькою, под обручем от бочки, с помощью которого над корытом был закреплён лоскут тонкой ткани. Порою дитя начинало плакать. “Лю, лю, лю!” — бормотала старуха-прародительница, прикрывши один глаз, а вторым, в слабом свете лампадки и неверных сполохах пламени в очаге, не прекращая наблюдать за Франкоянну. Наконец, спустя некоторое время, хотя старуха и выглядела принявшей решение вовсе не засыпать, предательская дрёма одолела её — быть может, оттого, что она слишком пристально смотрела на подозрительную женщину, — и с третьим криком петухов она заснула.

Дитя всё ещё хныкало. Бабка не бодрствовала более, и некому было убаюкать его однозвучным “Лю, лю, лю!”

“Всё девки, беда!” Сетования Янниса Лирингоса гудели в ушах Франкоянну.

Роженица не просыпалась. Старая Хадула пошевелилась, потянулась, стоя на коленях, и достала рукою до колыбели. Она

откинула белое полотнище с изголовья люльки, протянула руку, дабы приласкать плачущее дитя. Затем она зажала пальцами крохотный ротик, чтобы он не издавал звуков, и бросила взгляд сперва на роженицу, а следом на тюфяк, где лежала, свернувшись калачиком, старуха.

Голосок младенца прервался. Франкоянну нужно было сделать ещё одно движение. Другой рукой она с силою стиснула горло ребёнка... Затем взялась за тонкое полотно, чтобы вновь накинуть его на обруч. Рука её ударилась о доску, и раздался негромкий стук. Старуха, чей сон не был крепок, проснулась, вздрогнула, встрепелась. Она увидела Франкоянну, отдёргивающую руку от колыбели и отползающую на коленях обратно, к своему месту.

— Ты чего там делаешь? — в ужасе вскричала старуха. Роженица вскинулась, подскочила на месте.

— Что такое, матушка?

Франкоянну встала и подхватила свою корзину.

— Ничего: я утихомирить дитё хотела, чтоб не плакало, — ответила она.

Старая бабка наклонилась над люлькой.

— Пойду я, а то рассвело уж, — сказала Франкоянну... — Дашь родимнице отвару выпить!

С этими словами она немедленно вышла из хижины и пребыстрым шагом, желая удалиться как можно скорее, помчалась прочь. Выбрала она верхнюю дорогу, ведущую в сторону леса, чтобы не бежать по противоположной гряде, где находилось становище.

Была прекрасная майская заря. Голубоватые и розовые отсветы небес окрашивали в нежные оттенки кустарники и травы. В лесу раздавались жалобы соловьёв, и бесчисленные

маленькие птахи исступлённо, жадно исполняли свой неизъяснимый концерт.

Франкоянну уже успела отдалиться на многие шаги, когда услышала у себя за спиной сиплый крик. То была старуха, мать роженицы: обезумевшая, рвущая на себе волосы, она выбежала из хижины и кричала:

— Держите её!.. Держите!.. Она нам дитё убила!

Франкоянну всё бежала, бежала. Она надеялась как можно быстрее укрыться в лесу, где, даже если за нею началась бы погоня, следы её вскоре затерялись бы.

Но, словно назло, через несколько минут она столкнулась с Яннисом Лирингосом, шедшим к своему жилищу. Тот, проснувшийся в своё обычное время, возвращался в хижину, — может статься, он намеревался позвать тещу помочь ему в работе, как и минувшим утром. Но, когда он увидел тещу, вопящую и размахивающую руками на столь большом расстоянии, что слышать её слова было невозможно и оставалось лишь смотреть туда, куда указывали её жесты, когда увидел Франкоянну, бегущую в сторону леса, — то бросился за нею следом, громко крича:

— Что такое?.. Что стряслось?

Хадула остановилась и крикнула Яннису Лирингосу издалека:

— Побегу я!... Надобно...

Яннис Лирингос пробежал ещё несколько шагов и приблизился к Франкоянну. Тогда и та решительно сделала два-три шага в его сторону.

Старуха призвала на помощь всю свою смекалку и стала импровизировать.

— Яннис! У жены твоей схватки начались! Худо ей.

— Схватки!.. — воскликнул человек в крайнем недоумении.
— Ты что такое говоришь, христьянка?

— У ней второе дитё в брюхе! — заявила Франкоянну смело.

— Второе дитё в брюхе!

— Да, как я говорю, так и есть! Беги в село, зови повитуху!.. И лекарю скажи, пуццай придёт!

Лирингос остолбенел. Вдали, на маленькой площадке перед домом, его тёща ещё издавала сильные крики, уносимые ветром, так что Яннис не мог разобрать её слов. Речь Франкоянну была уверенной, и было похоже, что говорила она со знанием дела.

— Да разве ж так бывает? — воскликнул Яннис. — Ты в своём уме, христьянка?

— Ещё как бывает, — настаивала Франкоянну. — Близняшки-то не всегда разом рождаются. Какое дитё похилее, и на второй и на третий день рождается.

— Твоя правда! Я что-то такое слышал, — сказал Яннис.

— Видать, — пресерьёзно заключила Франкоянну, — второе-то дитё в этот раз позже первого зачали.

— Думаешь? — страдальческим голосом сказал Лирингос.

— Да беги ж ты быстрее! Лекаря зови!

— А ты куда? — спросил Лирингос.

— К святому Харалампью... отца Макария позову, чтоб пришёл, молебен за неё отслужил, за бабу-то!

— Ладно! Беги!

И Франкоянну побежала.

XVII

Внизу, в Гиблом овраге, в самой его глубине, рядом с Чёрной пещерой, скалы плясали ночную бесовскую пляску. Как живые, они дыбились и проклинали Франкоянну, забрасывали её камнями, словно летели в неё из невидимых карающих рук.

Миновало три дня с её последнего бегства из хижины Лирингоса. Виновная женщина спряталась в овраге с надеждою временно укрыться от лап своих преследователей. Держалась она благодаря сухарям, ещё оставшимся в её корзине, тордилиуму, укропу и купырю, которые она собирала, и солоноватой воде Чёрной пещеры. Место было почти нехоженным. Гиблый овраг был образован неприступною скалою, высившейся на западе, и скользкой обрывистой осыпью, или “сыпухой”, на востоке. Внизу, на дне, бил родник Глифонери. Два грота с узкими входами зияли по сторонам. Там она спала по ночам, днём же спускалась в Чёрную пещеру. Не существовало ни тропинки, ни стёжки, по которой она могла бы спуститься туда и подняться обратно. Старуха ступала по осыпи, по кромке обрыва. Сыпуха сотрясалась, как будто гневалась на неё. Каменья, которые она сдвигала своими шагами, продолжались вплоть до самого основанья, до самого дна этой нескончаемой кучи глыб, лежащей на краю обрыва. Стоило скатиться вниз одному камню, как другой занимал его место, следом ещё один, и, как приливная волна, вся осыпь рушилась на неё, ударяла её по голениям и по щиколоткам, по рукам и по груди. Порою некоторые камни, сорвавшиеся с высоты, с силою и со злостью били её в лицо. Эти последние, казалось, и впрямь летели из незримой руки, целившейся ей в голову.

В первый день, когда после этого побиения камнями Франкоянну добралась в конце концов до Чёрной пещеры, она села и стала смотреть на море. Пещера, заливаемая прибоем, имела два входа — со стороны моря и со стороны суши.

Обращённый к морю вход был низок и тесен, через него насилу проходила маленькая рыбацкая лодка. Франкоянну, невидимая с берега, слушала приглушённый, настойчивый рокот волн у входа в пещеру. Вал вздымался, наскакивал, ударял о свод, падал, набегал вновь; то паволна, поднятая северным ветром, выпускала протяжный яростный рёв, то широкая зыбь издавала стенания боли и страсти. Внизу, в бездонной глубине, колыхались тайна и тьма. Рассказывали, что некогда какая-то лодка, заплывшая в пещеру, где ловили омаров и крабов, — пока один из рыбаков взбирался на страшную кручу утёса, дабы нарвать серпника, — села днищем на живого тюленя, перегородившего вход. Тёмный зверь содрогался, бился, маленькая лодчонка ходила ходуном, тряслась и не могла продвинуться ни вперёд, ни назад. Находившийся в лодке рыбак ударил тюленя топором и ранил его, так что волна немного покраснела. Тюлень трепыхался в агонии. Молодой рыбак сумел набросить ему на шею петлю, позвал на помощь товарища, и сообщая они смогли поднять тюленя наверх, рискуя потопить свою фелюгу.

Старая Хадула всё смотрела и смотрела на море. О, если бы и сейчас показалась лодка, если бы приблизилась к ней!.. Франкоянну упростила бы юношей-рыбаков, своих земляков, взять её с собою... И куда бы она поплыла?.. О, ну конечно же, на ту сторону, на дальний берег, на большую землю!.. И что бы она там делала? О, если бы только Господь послал, там она начала бы новую жизнь!

Она видела, видела в открытом море, далеко впереди, множество парусов, белых полотнищ, подобных крыльям чаек. Она видела брацеры, голеты, маленькие каики, идущие под парусами, вспахивающие море, точно волю, впряжённые в плуг. Одни из них плыли строго на север, другие направлялись на юг, третьи шли на восток или на запад, крестообразно пересекая борозды, глубокие и ясно видимые каналы, оставленные предыдущими кораблями. Она видела множество потоков, расчертивших море, так что воды его казались расшитыми, изукрашенными. Она смотрела, пока не “проглядела глаза”.

Франкоянну вынула из корзины старое желтоватое покрывало из шерсти, в которое она заворачивалась, когда хотела спать и не могла уснуть, выпрямилась во весь рост, вскинула вверх шерстяное полотнище и начала что было силы размахивать им. Она подавала знаки, отчаянные знаки морякам, чтобы те приплыли и забрали её с собою. Видели мореходы её сигналы, не видели ли? Ни на одном корабле не ответили на её усилия, на её страстные призывы. Белые паруса удалялись, уносимые ветром по волнам, а она оставалась стоять на скале Чёрной пещеры, приговорённая, одинокая, лишённая надежды встретить завтрашний золотой рассвет...

Беловато-жёлтая тряпка вырвалась из её руки: ветер выдернул её и набросил женщине на голову и на плечи.

— Вот мне и саван! — прошептала, горько ухмыляясь, Франкоянну.

Наконец, присев внизу на камне, она увидела лодку, небольшую фелюгу, плывшую вдоль берега в её сторону. У неё был маленький парус и два весла, лениво ударявшие о волну. Плыла лодка с востока и приближалась к пустынной скале, к убежищу старухи. Франкоянну почувствовала, как в ней встрепенулась надежда. Она спряталась за вершиною скалы, чтобы понаблюдать и посмотреть, знакомы ли ей пассажиры. Когда фелюга подошла ближе, стало видно, что один из трёх человек, находившихся в лодке, был одет в военный мундир. Какой-то местный отставной военный, любитель рыбалки, поплыл за добычею вместе с двумя товарищами, рыбаками по ремеслу. Но стоило Франкоянну увидеть, что он был “регулярным”, как она, обманутая своим страхом, забилась ещё глубже за скалу.

Ночью она уснула в своём убежище, в солёной пещерной сырости. Шум прибоя гудел у неё в ушах. Волна рокотала у неё под ногами, издавая протяжный бешеный рёв. В глубине своей груди она слышала плач безгрешных младенцев. Приглушённый свист далёкого ветра доносился до её слуха. Мертвецкая пляска маленьких девочек с ещё большим жутким неистовством неслась вокруг неё. “Мы твои детки! — Ты нас

родила! — Поцелуй нас! — Дай ням-ням! — Купи нам гостинчики, купи нам наряды! — Приласкай нас! — Ты нас не любишь?”

Старая тёща Лирингоса, обезумевшая, заламывающая руки, яростно грозила ей, а её зять укорял жалобным голосом... У ног её, в глубине пещеры, рокотала волна... Волна вскипала, вскипала, пещера превращалась в водоскоп, и вода в нём рычала человеческим голосом:

— Убийца! Убийца!

Несчастливая проснулась в ужасе, залитая солёною водою и потом. Она пожелала, — и немедленно решила это исполнить, — не засыпать больше никогда, коль скоро ей виделись такие сны. Смерть будет лучшим из снов — лишь бы только по смерти не было сновидений! Кто знает! — Едва подумав это, она снова впала в забытё. Теперь ей мерещилось, будто она видела пред собою Камбанахмакиса, этого горного дикаря: он стоял со своим пастушьим посохом, нахмуренный, с загрубелым лицом, и гортанным голосом говорил ей: “В Гиблый овраг! По тропе, до Птичьего ключа! В скит к старцу!”

И, исчезая, ещё повторял: “В скит! В скит к старцу!”

Франкоянну проснулась в предрассветных сумерках с некоторым успокоением в душе, а тем временем голубоватая и багряная суша пред её глазами сливалась с чёрно-лазурным морским простором, и ветерок, свежесть, плеск, щебет сообщали её чувствам сладкое согласие гармонии.

С позавчерашнего дня она не переставала думать про скит, о коем трое суток назад сказал ей Камбанахмакис. Ей приходилось многое слышать от набожных женщин о добродетелях старца, папа-Акакия, который не так давно приехал на остров, один, и поселился в скиту святого Созона, в старой обители с заброшенной церковкой, расположенной на небольшой омываемой морем скале, являвшейся не то рифом, не то крохотным островком и находившейся близ северного, немного отклонявшегося к западу, обрывистого берега; во

время отлива островок становился маленьким полуостровом. Старец Акакий, как поговаривали, был строгим духовником, а кроме того, обладал редким даром чтения чужих помыслов, доходившим до прозорливости. Женщины уверяли, что он был истинным тайновидцем и мог сказать, что у каждого на душе. Посему он часто отпускал кающемуся гораздо больше грехов, нежели тот хотел перечислить на исповеди.

Для Франкоянну было бы счастьем, — если только она искренне желала исповедоваться, — найти духовника, который избавил бы её от труда и от страшного мучения нерешительности, сказав: “Ты сделала то-то и то-то!” Лишь бы он не отчаял её, но оказался способен помочь ей и спасти её — если возможно, то и в брэнном мире! Был же один святой, который укрыл и спас, не желая выдавать его властям, убийцу своего собственного брата? Почему бы и папа-Акакий не мог спасти и спрятать Франкоянну, тем более что почтенному отшельнику лично она не сотворила никакого зла? Разве не проплывали ежедневно суда, вдоль берега или открытым морем, мимо скита святого Созона, и разве не мог бы отшельник помочь ей спастись бегством, если бы пожелал?

Хадула устала от однообразия Чёрной пещеры и начала сильно слабеть от нехватки пищи. Она решила взять свою корзину, как только вполне рассветёт, выйти из укрытия и направиться к святому Созону. Там она исповедуется во всех своих “мытарствах”. Пришла пора покаяться...

Но жандармы, жандармы были уже тут как тут! Не то по доносу, не то по следу они обнаружили старуху... Им удалось спуститься в Гиблый овраг, и обрыв нисколько им не помешал, и камни сыпухи не поднялись и не бросились на них, не погнались за ними!

Уже занималась заря, и Франкоянну готовилась двинуться по кратчайшему пути к скиту, к святому Созону. Солнце ещё не взошло, не осветило безлесое побережье Курупи, не послало своих золотых лучей к отвесному склону Стивото. Франкоянну увидела жандармов, перепугалась, схватила свою корзину и, тяжело дыша, отдуваясь, побежала ввверх, по склону

неприступной скалы, именуемой Клима, в западную сторону. Она сбросила, махнувши ногами назад, свои “старые обутки” и, босая, взобралась на обрыв. Два “хлопца” тоже сняли свои башмаки и кинулись за нею к отвесной круче, к местам отчаяния, по коим она ступала.

Лишь один раз несчастная оглянулась назад. Тогда она увидела, что, хоть преследователей и было двое, в военный мундир был одет только один из них. На другом была местная одежда, с обёрнутым вокруг пояса кушаком, за который были заткнуты кинжалы и пистолеты. Судя по всему, был он из садовых сторожей.

Это привело старуху в отчаяние и испугало её. Отсутствие второго жандарма навевало подозрения: быть может, по ту сторону, за негостеприимною скалою стремнистого побережья, её ожидала какая-то засада, и жестокие гонители зажали бы её меж двух огней?

Но всё же такое совпадение утешило её и вселило в неё некоторую надежду. Один из “хлопцев” был её земляком, крестьянином на службе у городских властей, а это могло значить, что в преследовании он участвовал безо всякой охоты, по приказу, и что он унял бы пыл второго, жандарма. Ведь нельзя было исключить, что садовый сторож питал тайное сочувствие к беглянке, к гонимой, карабкающейся по острым камням несчастной женщине с окровавленными ногами, — в виновности которой он даже не был толком уверен.

XVIII

Через несколько минут погони Франкоянну достигла места, которое Камбанахмакис назвал “тропой через Климу”. То была скала, резко вдающаяся внутрь и образующая узенькую перемычку, под которою зияла морская бездна. На перемычке существовало место, куда можно было ступить, шириною в половину ладони, весь же проход имел длину в три или четыре шага. Чтобы пройти по нему, человек должен был ухватиться

за верхнюю, обращённую к морю, скалу, ступать одними пятками и идти справа налево. Жизнь его висела бы на волоске.

Франкоянку перекрестилась и не стала медлить. Другого выбора, другого выхода не существовало. Иных троп на скале не было. Женщина взяла корзину в зубы, решительно прыгнула и успешно прошла по ужасной тропе.

Подоспели двое запыхавшихся “хлопцев”. Жандарм взглянул на тропу и остановился.

— Духу-то хватит? — спросил с тайным злорадством его товарищ.

— Другой дороги нету?

— Нету.

— Ты, небось, тут много раз проходил, — сказал военный.

— Я? Нет! — отвечал садовый сторож.

— Ты овчаром разве не был?

— Так я овец-то в долине пас. Жандарм ещё немного помедлил.

— И что ж, баба ловчее нас выйдет? — сказал он наконец.

— Худо, что мы не успели глянуть, как она шла, — сказал с насмешкою сторож. — Кабы ты её увидал, тогда бы духу хватило.

— Правда?

— Кабы ты знал, как часто бабы нам пример подают! — отвечал сторож. — Во многих делах храбрости-то им не занимать.

— И я пройду! — заявил жандарм.

— Вперёд!

Жандарм снял с себя китель и протянул его товарищу, оставшись в исподней рубахе. Затем он осенил себя крестным знаменьем.

— Коли пройду, брось мне его, — сказал он.

Жандарм попробовал ступить на узкую тропинку, схватился за скалу. Но, сделав один шаг, он попятился назад.

— Голова закружилась, — сказал он.

Меж тем Франкоянну бегом одолела подъём и взбиралась всё выше по берегу. Обессиленная, она отдувалась и задыхалась. Идя вперёд, она то и дело замирала на какое-то неуловимое мгновение и наостряла ухо, прислушиваясь. Она хотела понять, смогли ли пройти по тропе двое её преследователей. Но ничего не было слышно. Из этого затишья Франкоянну сделала вывод, что “хлопцы” не решались ступить на тропу.

Наконец, она достигла Птичьего ключа, как назвал его Камбанахмакис. То был источник, бьющий на высокой скале, в чьей верхней части образовалось маленькое скользкое уплощение, покрытое почвой, заросшее тиной и другими водными травами, как казалось, плававшими в воде. Франкоянну ступала осторожно, дабы не поскользнуться и не упасть. Из этого родника, действительно, могли пить одни лишь небесные птицы. Хадула склонилась и напилась...

— Ах! Раз уж я из вашего родничка пью, пташечки, — сказала она, — дайте мне и ваши крылышки, чтоб я улетела!..

И она рассмеялась, изумляясь, как ей удалось додуматься до этой шутки в такую минуту. Но птицы, увидев её, переполошились и разлетелись в страхе...

Она села подле Птичьего ключа, дабы собраться с силами и перевести дыхание. Теперь она была почти уверена, что два “хлопца” не смогли пройти по тропе через Климу.

Но несчастная не чувствовала никакой безопасности, сидя там. Потому вскоре она поднялась, взяла свою корзину и помчалась под гору. Теперь она решительно направлялась к святому Созону, в скит. Наступила пора, ежели ей суждено было спастись, исповедоваться во всех своих прегрешениях старцу-отшельнику.

Через несколько минут старуха спустилась по склону и ступила на береговую гальку и на песок. Пред собою она видела омываемую морем скалу, на которой виднелась старинная церквушка святого Созона. Песчаная коса, соединяющая крохотную скалу с сушею, едва на палец возвышалась над волнами. Начиная прилив. Франкоянну остановилась и медлила. “Разве ж не обмельчает снова чуть погода?”— сказала она. — “Чего мне сейчас торопиться и промокать?”

Но в это самое мгновение она услышала доносящийся с обрыва отнюдь не слабый шум. Двое мужчин, один военный, а другой статский, с ружьями на плече, бежали по склону вниз. Статский не был садовым сторожем, оставшимся позади со вторым жандармом: то был другой человек, и одет он был в европейское платье. Стало быть, это и была засада, которую заблаговременно заподозрила Франкоянну и с помощью которой преследователи хотели зажать её в тиски? Теперь они её настигали.

Франкоянну побежала вперёд, перекрестилась и ступила на песчаную косу. Песок был скользким. Волна подымалась, пучилась. Старуха не повернула назад. Иной надежды на спасение не было. Даже этой, в сущности, не было.

Вода подымалась, подымалась. Франкоянну шла вперёд. Песок проседал. Ноги её скользили.

Скала святого Созона отстояла приблизительно на двенадцать сажень от берега. Песчаная коса, брод, была в пятьдесят или чуть поболее шагов длиною.

Волна достигла ей до колена, затем до пояса. Песок скользил. Становился жижею, ямой. Вода поднялась ей по грудь. Мужчины, преследовавшие её, выстрелили в воздух, дабы утратить её. Затем раздались их крики — крики ликования и верной победы.

До святого Созона оставалось около десяти шагов.

Под ногами у Франкоянну больше не было суши; ноги её подкосились. В рот её вливалась горькая и солёная вода.

Волны вздымались яростно, словно обладали собственным страстным чувством. Они покрыли её уши и ноздри. В это мгновение взгляд Франкоянну упал на Бостани, на пустынный северо-западный берег, где родители отписали ей в приданое клочок поля, когда выдавали её, девушку, замуж, когда покрыли её голову, сделали невестою.

— О! Вот моё приданое! — сказала она.

То были её последние слова. Старая Хадула нашла свою смерть на косе святого Созона, на перешейке, соединяющем монастырскую скалу с сушей, на полпути между божественной и человеческой справедливостью.

РАССКАЗЫ

ГРУЗ КОСТЕЙ

Мы поднимались в гору пешком, вместе с навьюченным осликом: папа-Андреас, наш добрый молитвенник, да ныне покойный Ламизос, да я, да Алекос Огонёк, наш младший отзычивый товарищ. Всегда он был готов без усталости исполнять поручения, о чём бы его ни попросили. Пойти по чьей-нибудь просьбе в деревню, проделать двухчасовой путь и вновь, с поклажей, вернуться назад; подмести всю церковь, и двор, и кельи самодельным веником из метельника и хворостин; сбегать вниз на берег, чтобы насобирать морских блюдец, ракушек и крабов нам на перекус, и возвратиться через час с наполненным подолом; разжечь огонь, поджарить и приготовить все лакомства; позаботиться о фляге и бурдюке, дабы охлаждались в ручье, прямо под истоком родника; во всём был он незаменимым.

Кроме нас, в путь отправился и пёс Стаматиса Александракиса: пёс, которому давно уж было суждено сделаться беспризорным. Несчастный и дурноголовый приятель наш Стаматис, разругавшись со своими родственниками и друзьями, и едва ли не со всем народом, стал страдать приступами скрытности, которые оказались предвестниками окончательного исчезновения его из суетного мира. Порою он прятался, как говорили, в одной пустынной пещере, порою уходил на несколько дней пожить в монастыре, порою путешествовал неведь куда, и всякий раз бросал бедного Сапсониса на милость Всевышнего и рыночного люда, ежели тот благоизволял хоть раз швырнуть ему какой-нибудь объедок. Зачастую Йоргос Лавкиотис, владелец старомодной и не меняющейся кофейни на морском берегу, хотя хозяин Сапсониса и лишил его нескольких сотен по-дружески одолженных драхм, жалел беззлобное создание и бросал ему немного костей. За мною же Сапсонис следовал по пятам из кофейни на улицу, от павильона под навес, вдоль набережной,

и, наконец, сопровождал меня до самого дома, где я должен был бросить ему чего-нибудь из остатков обеда.

Но и находясь в добром здравии Стаматис не уделял преданному псу иного внимания, кроме как внезапно бросать его в прибой, лающего и сопротивляющегося, чтобы плавал. Уже много лет пёс оставался заросшим и нестриженным. То был очень лохматый пёс. В этот раз, обнюхав нас, собиравшихся в дорогу, он проявил беспокойное любопытство, когда мы навьючивали осла, и приблизился, пытаясь нюхом определить, что содержалось в мешке, который Алекос завязал и погрузил на левый бок животного. Справа были навьючены сума со священными принадлежностями попа, корзина с провиантом и фляга с вином. Затем самозванец шагом последовал за нами.

* * *

Прежде чем начать подниматься в гору, мы остановились в местечке под названием Синодари: в приятной низине, где раздавался однообразный размеренный стрекот от лопастей водяных мельниц. Стоял прекрасный день “Свят-Димитриева лета”, 19 октября. Текучие звёздчатые жемчуга срывались с трепетом, в огненном сиянии, с неустанно вращающихся лопастей, в устье потока, под основаньем стены; осенние насекомые гудели вокруг зарослей, шелест крыл отдавался глубоко в листве, вздыхал ветерок, покачивая ветви платана, и влажная анемона росла у корней кустарника. Алекос опустил флягу с водою в родник, чтобы остыла, и после краткого отдыха мы продолжили путь. Наконец, на заходе солнца мы достигли вершины первой горы и увидели пред собою бело-серый обнажённый конус Куруписа, где висячие глыбы, кажется, спускаются с высот, выдаваясь вперёд, образуя выемку в глубине, венчая вершину неприступной горы. Только кум Феодосис с его лёгкими сандалиями и летучей походкой обладал дарованьем подыматься на эти кручи, выставивши вперёд длинный посох и погоняя своих коз, чтобы ни одна из них не сбилась с пути и не забралась в непроходимое место, откуда не смогла бы возвратиться обратно, как случается иногда. И ястребы с их скорбными вскриками ревностно стерегли эти вершины, высматривая порою, как бы похитить

курицу или какую-либо другую живность из редких пастушеских хижин.

Храмик святого Харалампия, ослепительно-белый, с белыми кельями, с двумя низкими флигелями, в один этаж, и высоким северо-западным углом, служившим гостиницей — где просветлится опечаленная душа, едва возвысится немного и взглянет из окна на исполинские горные утёсы вверху и на море, простирающееся к северу до Халкидики и до дивного Афона, — со своею колокольнею, с двумя колоколами, нежным и жалобным голосом призывающими к божественному нерадивых христиан, — любимая святыня всех островитян и даже жителей расположенного на том берегу пролива городка, чьи здания белеют вдалеке на прихотливых склонах горной гряды. Туда мы и прибыли. Вошли в благоухающий храм и, растроганные, перекрестились.

Бедная монахиня встретила нас радушием. Она помогла Алекосу снять с ослика поклажу и взялась за левую её часть, за тот самый мешок, чтобы опустить его на землю, не зная и не проверяя его содержимого.

Тут Сапсонис, подошедший поближе, просунул морду между рук старухи, рядом с завязанной горловиной мешка, и отрывисто твякнул. Старуха отогнала его.

— Матушка Евпраксия, — сказал Ламиэос, когда мы вышли из храма, — ты возьми в триестской корзине свёрнутое полотенце, и блюдо, что там лежит, и не сочти за труд, укрась кутью. В белом кульке найдёшь изюм, драже и гранаты.

— Кутью? — повторила монахиня, прося небольшого объяснения.

— Дитё перехоранивать будем, — коротко ответил Ламиэос.

* * *

Между тем сума со священными принадлежностями попа была внесена в алтарь. Мешок, составлявший левую часть ослиной поклажи, был оставлен на завалинке снаружи, у западной стены, то есть у фасада маленькой церкви. Сапсонис, побегав с лаем туда-сюда и съев большой кусок хлеба, брошенный ему Ламиэосом, вновь вернулся к нам, сидевшим напротив храма; он то делал шаг к мешку, то шаг к нам, издавал короткие потягивания и не переставал смотреть на мешок и принюхиваться к нему.

Вечерню мы отслужили ночью. Евпраксия к тому времени украсила блюдо с кутьёю, и священник, после Трисвятого, помолился “за упокой раба Божия Евфимия”. Мы поужинали на свежем воздухе, пред храмом, при свете двух свечей и под яркими звёздами. Однако, уже холодало, и монахиня, ничего нам не сказав, разожгла в келье, соседствовавшей с её собственным жилищем, щедрый огонь в очаге. Затем она пригласила нас, если нам было угодно, подняться и отдохнуть на двух невысоких софах подле пылающего очага. Предложение её было весьма заманчивым ввиду некоторого утомления и изрядной прохлады, которою мы насладились в нашем красивом и печальном пути.

Перед тем как мы легли спать, Ламиэос — ему было около тридцати пяти лет тогда, нашему доброму другу, очень благожелательному со мною; торговец, и один из лучших в наших краях, умер он сорокалетним, — кликнул монахиню и дал ей смиренным голосом следующее поручение:

— Матушка Евпраксия, возьми головку дитяти, и спинку, и сложи в корзину. Поставь их под иконой Христа, в церкви, и накрой тем же полотенцем, что подстелешь снизу. Утром их отпоют. А мешок с костями брось завтра на погосте, там, на Пустыре.

* * *

Мы проснулись и в три часа пополуночи начали утреню. В тот день праздновалась память святого Артемия и святого Герасима Кефаллийского. Мы пропели “Непорочны”, как принято на Святой Горе, и дивный заупокойный канон Феофана, “В небесных чертогах...” Затем мы перешли к литургии и завершили её за час до восхода солнца.

Так нежный маленький череп и лёгкие тонкие лопатки были благословлены, помянуты и освящены, хотя бы и совсем не нуждался в том мальчик Эвфимиос, чья душа слушала тропарь “Рая жителя и земледельца”, уж три года как будучи жительницей рая.

Но наш друг Христос, отец маленького Эвфимиоса (зять Ламиеоса по сестре), полагал, что мальчонке, угасшему в четырёхлетнем возрасте, нужны были и слёзы, и свечи, и кутья. А поскольку отцовская душа его не смогла бы вынести зрелища костей и черепа ребёнка, выставленных в корзине посреди приходского храма, он отправил нас в гору, дабы мы совершили обряд перенесения останков втайне, среди пустынного одиночества.

И наутро, когда солнце вымахало ровно тростник, Сапсонис, бесхозный пёс Стаматиса, сопровождал монахиню на Пустырь, на кладбище старого монастыря, и, пока та вытряхивала содержимое мешка в костницу, дряхлый пёс приподнимался и вставал на задние лапы у стены крохотного здания, издавая поскуливания, полные сдержанной зависти, будто хотел сказать: “Какая жалость, столько костей пропало!”

ЗАКОЛДОВАННЫЕ ВОРОТА

- Прости меня, Арето, прости меня!
- Бог простит, Бог простит, батюшка!
- От всей души прости, Арето, доченька!
- От всей души, батюшка: простила!

И лежал при смерти целыми днями и неделями старый Куменис, и мучался страшно на краю сего мира, в преддверье мира иного, прежде чем ступить на порог кромешного Ада. И, терзающийся, уже погибший и не могущий сгибнуть, задыхающийся и не могущий до конца задохнуться, умолял о благословении, о прощении своё собственное чадо, свою дочь Арети, рождённую от его первого брака. Теперь он взывал к ней уже не в надежде выздороветь, подняться с постели, вернуться к жизни, но затем лишь, чтобы сорваться вниз, чтобы пасть в чёрную бездну.

Спустя многие годы, когда я был маленьким, Аретí, жена Бозаса, почти ровесница моей матери, рассказывала ей обо всех этих событиях. И я слушал, как она декламировала со страстью и бесхитростностью одну народную песню, в которой находила, по всей видимости, выразительное иносказание и косвенную связь со своею личною судьбою.

* * *

*Ворота строят на берегу, не держатся ворота:
едва построят ввечеру, они наутро рухнут.
Порхнула птаха и сидит от тех ворот направо,
по-птичьи птаха не поёт, соловушкой не свищет,
но всё поёт да говорит слова по-человечьи:*

— Пока не сгубите души, ворот вам не построить,
но не губите сироты, ни путника, ни гостя,
а только первого мастера любимую супругу.
Как мастер слово услышал, отправил подмастерье:
— Ступай, хозяйка Арети, тебя хозяин ищет.
— Коль ищет он меня к добру, то я наряд надену,
а коли к худу он зовёт, то в чём была пойду я.
— Ступай, хозяйка Арети, уж он тебя дождался.
Мы три сестрицы родились, и всех троих заклали:
Евдокья в Турнаво лежит, под мостиком Мария,
а я, сестрица Арети, от тех ворот направо.

* * *

Горемычная Арети, жена Бозаса, вероятно, из-за совпадения крестильного имени находила таинственное сходство между судьбой героини этой песни и своею собственной горькой долей; она немало страдала от лености своего супруга, прозванного Брюхатым Стафисом и Бозасом, который, будучи земледельцем с полями и именьями, не особо любил трудиться, но предпочитал надзирать на рынке за работой мясников, прислуживая скототорговцам. Ему нравилось вертеться вокруг забитой скотины, как истинному мясницкому псу, каждый день кушать потрошка и вволю наслаждаться вином и сном, оставляя дома голодными свою супругу и пятерых её детей. Арети, порядочная и благоразумная, страдала с мученическим терпением и жила, подобно многим другим, пытаясь свести концы с концами и работая по чужим домам.

И вместе с песнею о заколдованных воротах рассказывала она моей матери простую и краткую историю своей незначительной жизни.

* * *

Пять лет было ей, когда мать оставила её на миру сиротою. Отец спустя год женился снова. Мачеха её была “из рода Карамусалиса”. С самого начала возненавидела она падчерицу, но некоторое время смирялась с нею. Когда же через год

начала она рожать и возиться с пелёнками, ревность её к первенице утроилась. На беду девочки, дитя родилось женского полу. О, ну конечно же, эта маленькая ворона, эта сычиха была виновата. Будь у неё лёгкая рука, следом за нею родился бы мальчик. Тогда и положение первеницы в семье стало бы куда более терпимым. Но она, “свиноногая”, приманила за собою ещё одну дочь. Разумеется, это не могло показаться мачехе добрым знамением. Едва Карамусалина с большою заботою вскормила до годовалого возраста свою дочь, ругая, проклиная, избивая несчастную падчерицу — иногда сандалией, иногда подошвою туфли, иногда четверною верёвкою, на которой развешивала она ежедневно пелёнки новорождённой там и сям по флигелю с очагом (всю зиму не переставали идти дождь и снег), — как вновь забеременела, не успев ещё отлучить от груди маленькую Марью. Когда той было девятнадцать месяцев, на свет Божий из утробы матери появилась Леню. О, тогда положение Арето стало невыносимым. Подумать только: не прошло и трёх лет, а уже двух сестёр от того же отца привела эта неудачница за собою!

* * *

Было утро, осеннее утро, почти такое же прекрасное, как если бы на дворе стояла весна, когда Куменис одолжил у соседа лодку и отчалил, не взяв с собою ни одного товарища, ни матроса, ни гребца: целью его была одна бухта, располагавшаяся напротив деревни, к западу, в местечке Канапица, внутри большого южного залива. С собою он взял тесак, да сачок, да багор. Быть может, он скорее собирался нарубить хвороста, сколько вмещалось в лодку, нежели наловить рыбы на мелководе. Взял он с собою и маленькую восьмилетнюю Арето — наверное, чтобы таскала хворост, сколько могла унести, с лесистого склона на прибрежный песок.

Куменис усадил дочь в носовой части лодки и начал грести. Лодка отплыла далеко от деревни в сторону открытого моря, так что дома казались теперь крохотными курятниками, а люди, идущие по западной окраине, по плоскогорью, казались

резвящимися мышатами, и женщины, стирающие одежду внизу на берегу, во Фтелье, под погостом Мнимурья, казались трясогузками.

Лодка приближалась к Канапице, и, миновав тёмно-синие бездонные воды, вошла в голубое и воздушное мелководье, где, должно быть, горгонам и nereидам радостно было плавать и нырять к волшебному дну с его гротами и водорослями, жемчужными раковинами и неисчислимыми прекрасными рыбками, стайками игравшими в глубине.

Николас Куменис ласкал, весьма нежно, свою маленькую дочку и показывал ей красоты морского дна и прибрежной воды.

— Глянь-ка, Аретаки, глянь-ка вниз, видишь рыбок: как блестят, красенькие да голубенькие!

— Вижу, батя.

— Глянь, травки зелёнькие, глянь, водоросль! Видишь устричек, видишь камушки — чудо ведь как красиво, Аретаки

— Красиво, батя.

— Глянь, какая штучка там внизу!.. Видишь, Аретула?.. Нагнись посмотреть, нагнись!

Куменис склонился к борту, где сидела Аретула, и лодка ужасно накренилась в ту сторону. Жестами и уговорами он принуждал дочку нагнуться и посмотреть вниз. Аретула крепко уцепилась обеими руками за планширь. Её начал охватывать неясный страх. Отец продолжал настойчиво заставлять её нагнуться и посмотреть на “красивые штучки”, что были внизу на дне.

В какое-то мгновение он, сидевший лицом к носу лодки и наклонявшийся вперёд, выпустил весло из правой руки и схватил Аретулу за плечо. Но, едва прикоснувшись к ней, сразу

же отпустил её снова: отдёргнул руку, словно испугавшись своей собственной мысли.

— А! Дурная девка, даже нагнуться посмотреть не хочешь, какая там красота внизу!

Аретула заплакала.

Через несколько мгновений после того, как отец с огромной силой и яростью налёг на вёсла, будто не понимая, что делает, или гневаясь на себя, бедная девочка, с затуманившимися от слёз глазами, переставшая смотреть на что бы то ни было и рыдающая сама не зная отчего, почувствовала лёгкий толчок. Лодка достигла Канапицы, и нос её мягко уткнулся в песок. Девочка вскинула свою белокурую непричёсанную головку, увидела, что они приплыли, и попыталась встать и выпрыгнуть прочь.

Отец опередил её. Он грубо схватил её за подмышки, раскачал и бросил на песок, словно маленький мешок, набитый травой. Стук от её падения услышал он один, и звук этот отдался эхом в его внутренностях.

Затем он поднял одно из вёсел, отвёл лодку от песчаного берега и начал удаляться, как будто намерения его переменились. Быть может, ему уже не хотелось собирать хворост. Отплыв на много сажений, он взял свою острогу или сачок и встал, нависая над носом лодки, чтобы присмотреть себе добычу.

* * *

Аретула прекратила плакать. Она не стала звать отца, чтобы тот вернулся и снова взял её в лодку. Подспудно она чувствовала, что там было нехорошо. Пройдя несколько шагов, она присела за высокими кустарниками, близ развалин чьей-то старой хижины, укрытой за горою. Ни одному из редких прохожих, шедших на поля или возвращавщихся, она не подала никаких признаков жизни, и никто не обнаружил её. Рядом с развалинами было маленькое ущелье, где струилось немного

влаги. Там Аретула нагнулась попить, поела “трефлы” — разновидности клевера или дикого портулака, росшей близ тонкой водной жилки. Там и просидела она, спрятавшись, весь день.

Уже начинало темнеть. Маленькая, бедная, голодная, Аретула повернулась к востоку, где виднелись деревенские домишки, нашла дорогу и стала двигаться, или, вернее, ковылять в том направлении. Два добрых пахаря, отец с сыном, возвращавшиеся с полей, последние застигнутые ночью проезжие, увидели, как она чернеет и плетётся у края дороги, и довели её до маленького западного предместья под названием Гелададика, находившегося на окраине городка. На расспросы их она отвечала, что отец привёз её утром на лодке и ненадолго оставил на песчаном берегу; что она ждала, когда отец вернётся и заберёт её, но он не вернулся. Вот и всё, что она сказала.

* * *

Аретула не хотела больше ступать в дом своей мачехи. На выговоры своих родственников со стороны матери она ответила, что “мамка Карамсалина” её не признаёт и науськивает маленькую Марью щипать её и дёргать за волосы. Родные её матери, такие же бедные, как и она сама, волею-неволей приняли её к себе и по мере взросления научили стирать, мыть полы, белить чужие дома, а затем и полоть, и жать, и собирать оливки, в зависимости от времени года, и выращивать “работку”, то есть шелковичных червей, в летнюю пору. Когда ей исполнилось тринадцать лет, её выдали замуж. В те времена дочери бедняков выходили замуж быстрее и легче, чем в наши дни.

Но мачеха продолжала злопыхать. Незадолго до того, как девочка должна была обвенчаться, в один прекрасный день отец распустил о ней дурные слухи, сколь невероятным бы ни могло это показаться. Очевидно, “мамка Карамсалина опять его подговорила”.

Как это произошло, мы не знаем в точности. Похоже, мачеха рассудила, что, если вовремя избавиться от первеницы, то домишко, виноградник и маленький оливняк, принадлежавшие покойнице, перейдут по наследству к Куменису, а затем, по прошествии времени, ими завладеют Марьо и Леньо, две её дочери, которые иначе не могли бы получить большого приданого.

Отец же, увы!.. оклеветал дочь, спутавшуюся якобы с неким человеком, который и был-то всего лишь прохожим, бродячим торговцем, случайно оказавшимся в их округе. Соседки поначалу поверили услышанному. Но вскоре явилась “как свет и как полдень её обида”, обида Арето, и была доказана её невиновность. И свадьбу не отменили.

* * *

Двадцать лет и даже более миновало с тех пор. Старый Николас Куменис валялся при смерти, был по-собачьи, и душа не желала оставлять его тело.

— Прости меня, Арето, прости меня!

— Простила, батюшка! — отвечала сквозь слёзы Арето.

— От всего сердца, Арето!

— От всего сердца, батюшка! — восклицала исстрадавшаяся и добрая женщина.

Наконец, после многих дней и ночей страшного мучения, испустил дух жалкий отец, захотевший некогда бросить на морское дно свою маленькую дочь, словно принося её в жертву.

А я, сестрица Арети, от тех ворот направо.

ПОРЧА АГИ

Подобная мёртвой голове свежевыкопанного скелета, с пустыми глазницами, с провалившимся носом, — зрелище столь же ужасающее, нагой и окоченевший остов являет взору издалека маленькая мечеть обезлюдевшего селения. У неё всего лишь одна дверь, низкая, ушедшая в землю, лишённая створ, расположенная посредине стены, и два разбитых оконца по сторонам. Сверху, с Барбераки, самой выдающейся из окрестных возвышенностей, где со всех сторон, и с востока, и с севера, и с запада, ветер бритвою сечёт по лицу, и откуда простирается бескрайний вид на лазурное, искрящееся море, на освобождённые фессалийские просторы и на порабощённые земли Кассандры, — оттуда видно обезлюдевшее село, построенное некогда на высокой, исхлётанной волнами скале, видно и убогую мечеть с двумя округлыми дырами по сторонам и большой продолговатой дырою посередине; рядом же с нею проглядывает высокий конак с тремя ещё устоявшими стенами и рухнувшей наземь кровлею: останки минувших веков. И тени ещё блуждают окрест, и старинные воспоминания оживают, и призраки стенают на безлюдье, и северный ветер свищет, безжалостный, среди почерневших развалин да среди деревьев, что сгорбились на горной гряде, словно путники, пригнувшие голову и задыхающиеся на подъёме.

Два-три раза в году, когда с другой, южной, оконечности острова люди приходят навестить пустое село, и женщины разбредаются по руинам, переходя от одной дикой смоковницы к другой, ища спелую смокву, чтобы прибавить её к домашним смоквам с равнины, а дети, прибежавшие следом за ними, сорвиголовы наших дней, принимаются носиться окрест по развалинам и карабкаться на шелковичные деревья, — тогда, перепачкавши руки и губы красной шелковицей, насытив свои животы, да ещё и набрав ягод за пазуху, они разбегаются в разные стороны и находят развлечение в прыжках, кувырках и визгах, вступающих в игру с голосами

пустыни и её призраков. И многие из детей, самые бедовые, взбираются на кровлю, перекрывающую купол нищенской мечети, и нескладными голосами пародируют проповедь ходжи¹⁵, которой никогда не слышали. Им повезло.

Тогда призраки уходят, удаляются тени, и жалоба безлюдной земли затихает вдали — последний сдавленный стон, погружающийся в пучину. А морские птицы и сипы, живущие на скале, взлетают повыше и стремглав мчатся вниз, в глубины пещер, или теряются в небесном просторе.

* * *

Но всё же этот конак был некогда обитаем, и в мечети то и дело звучала молитва к Аллаху, и намаз совершался по всем обычаям. Доподлинно известно, что всего лишь один ага, и тот для проформы, служил в селении, ежегодно выплачивавшем Порте налог в две или три сотни грошей. Последний ага¹⁶, прибывший за несколько лет до Революции, привёз с собою гарем, состоявший из супруги и служанки. После него, приблизительно во время народного восстания, прислали только одного чауша, а затем уж никого.

Итак, предпоследний прибывший сюда оттоман происходил из Фессалии. Был он смирным, беззлобным человеком. Говорил по-гречески. Принимал подарки, которые ему подносили, и зачастую просил у жителей ещё. Держался серьёзно, покровительственно и прохладно-обходительно. Он казался

¹⁵ Ходжей писатель называет муэдзина

¹⁶В Османской империи описываемого времени титул “ага” относился к командирам янычар и кавалеристов, но в разговорной речи мог обозначать любого старшего офицера. Чауш — младший воинский чин, примерно равный сержанту. Христианские общины платили султану джизью за право исповедовать свою веру, а за соблюдением порядка следили османские военные чиновники. О них и говорится в данном отрывке.

подобным приручённому змею, которого лишили клыков. Жили они в мире с народом: и он, и его гарем.

Каждое утро, надевши свой кафтан и суконные туфли, он выходил из конака, отпирал дверь мечети, заходил внутрь, взбирался на стол, стоявший подле окна, высовывал в окно голову и пел, очень тихо, утреннюю молитву, “Ля иляха иллялах”, обращаясь к морю, словно хотел вверить её ветрам, чтобы те сами отнесли её в Стамбул, в Мекку или куда им заблагорассудится.

Поскольку другого ходжи в селении отродясь не бывало, сей временный ага изображал ходжу для самого себя. Никогда не существовало и минарета, но высокое окошко восполняло сию недостачу.

Затем ага преклонял или не преклонял колени, ударялся или не ударялся лбом пару или более раз о мраморный пол, и почти сразу же после “Ля иляха” выходил из мечети, запирали дверь, возвращался в конак, разжигал свою длинную трубку, курил, курил, и, когда рассеивалась дремота, надевал белоснежную чалму, широкий кушак, шубу, кожаные башмаки, выходил на улицу и, с огромною трубкою в руке, направлялся к Павильону, где, как он знал, наверняка ему повстречались бы двое-трое таких же бездельников, как и он сам, сельских старейшин в белых рубахах с широким открытым рукавом и расшитых длинных поясах: с ними он мог бы побеседовать. *Лакырды шейле*¹⁷.

Идущего по улице, его видели местные попы, причт одного из двух приходских храмов и посменные служители сорока часовен, имевшихся в городке; завершив литургию, они сидели у маленькой лавчонки дядьки Анагностиса Пузана и пили свою утреннюю ракию. Ага приветствовал их с выражением благочестивого сочувствия и шёл далее. Видели его и честные хозяйки, тащившие поутру свои “мазанные” пироги в пекарню, где растапливала печь Гаруфалья Ксину, — чуть дальше по улице, за мечетью. Видела его и тётка Сираино Пантуса,

¹⁷ Так поболтать (искаж. тур.)

добрая христьянка, в которой остальные женщины боялись двух вещей: языка и дурного глаза. Однажды, как поговаривали, она расстроила брак, прямо во время свадьбы, когда венцы были уж приготовлены и невеста обряжена, гости собрались в доме, а попы с минуты на минуту должны были надеть свои епитрахили. Одно-единственного слова, что прошептала Сираино Пантуса на ухо тётце, матери жениха (и слово то было, конечно же, напраслиной на невесту), хватило, чтобы свадьба не состоялась.

В другой раз, когда маленькая брацера проплывала мимо, — новёхонький, прекрасно оснащённый, дивно выкрашенный корабль, — тётка Сираино Пантуса, вместе с прочими женщинами наблюдавшая с вершины утёса, не смогла справиться с восторгом и воскликнула:

— Ай! Вот так каик! Что за красота!

Едва она произнесла эти слова, в следующий миг — вымолвить дико, но так рассказывали те, кто видел сие своими глазами, — весь такелаж судна с треском обрушился, и каик остался без парусов, словно голая деревяшка, бросаемая волнами из стороны в сторону. Впрочем, этот сюжет больше походил на басню, чем на рассказ, заслуживающий доверия.

* * *

Когда ага в своей чалме, со своею длинной трубкою, проходил мимо пекарни, женщины, что бездельничали в маленьком дворике, поджидая часа отправить в печку свои хлеба, глядели на него и шептали одна другой коротенькие суесловья:

— Хорош ага!

— Село-то наше ему на пользу пошло.

- Похорошел на нашем воздухе.
- На ветру-то на свежем.
- Видали его гарем?
- Нет.
- Она ж до бровей закутана.
- Его ханумиха.
- Его кадыня¹⁸, ох, батюшки!
- И служанка.
- Она и из дому-то никогда не выходит.
- А Фатме, служанка, выходит изредка.
- Видала, какая у неё рожа? Арапка, ей-ей!
- Чёрная-пречёрная!
- И зубы лошадиные.
- А всё-таки: кажись, он добрый.
- Холодный и злобный.
- Сколько снаружи ласки, столько внутри и злобы.
- Чего ни говори — турок.
- Собака.
- Но ведь ладный такой, бабоньки.

¹⁸ От оттоманского турецкого kadın — госпожа, супруга (в современном турецком языке — женщина).

— Красивый человек.

— Село-то ему на пользу пошло.

— Воздух наш свежий.

— А хотите, — крикнула вдруг тётка Сираино Пантуса, — хотите, я вам его так разделаю, что он через месяц скапутится?

Женщины замерли, притихнув.

Гаруфалья, пекарниха, которая в то мгновение держала в руках кочергу, слышав, бросила недочищенную печь, поворотилась и сказала:

— Что, порчу наведёшь, никак?

— Шутит она! — откликнулась другая женщина.

— Ну, вперёд, тёть-Сираина!

— Вам-то что за дело? Порчу, не порчу... Я знаю, что говорю.

Женщины не знали, что ответить.

— Ни в жизнь не поверю, — сказала одна.

— Упаси нас от такого.

— Нам-то что за дело?

— Коль вдруг и сгинет один турок аль два, от самой-то Турции так запросто не избавиться, — произнесла со вздохом какая-то старуха.

— Вот увидите, — только и сказала тётка Сираина.

* * *

Вечером того же дня, на заходе солнца, тётка Сираино устроилась сторожить в переулке меж пекарней и маленькой мастерской дядьки Анагностиса Пузана. Ага тем временем, держа подмышкою угасшую трубку, возвращался с небольшого променада: он прогулялся до крайней улочки, пролегающей подле невысоких стен селения, и теперь направлялся в свой конак поужинать.

— Аксам хайир олсун, господин ага, — говорит ему дерзко тётка Сираино Пантуса, которая в своё время слыхала немного турецких слов из уст своего покойного мужа, частенько путешествовавшего в населённые турками земли, и их запомнила.

— Добрый вечер, — отвечал ага по-гречески, глядя на неё с удивлением. — Чего тебе надобно? Или у тебя ко мне какая жалоба?

— У меня жалоба? Ни жалобы, ни бакшиша (последнее слово она прожевала хорошенько, чтобы его не расслышал тот, с кем она говорила), господин ага. Так просто хотела доброго вечера тебе пожелать. Давненько тебя не видела.

— Весьма любезно, — отвечал ага с улыбкою.

— Гляжу, истощал ты больно.

— Что?

— Похудел ты сильно, господин ага, гляди, как бы порча к тебе не пристала. Не приняло тебя село-то.

— Правда?

— Исхудавший весь, бледный. Тьфу, чтоб не сглазить. Как свечка таешь. В чём душа держится.

— Истайфурла!¹⁹ — вымолвил ага.

— Пожелтел, как медяк, господин ага! Увяло твоё личико.

— Аллах! Аллах!

— Ты уж поберегись, господин ага. Вредит тебе тутошний воздух. Гляди, как бы не скапутиться тебе, бедолаге, на чужбине.

Турок невольно замахнулся трубкою, испытывая желание пересчитать позвонки мерзкой прорицательнице. Но тётка Сираино уже отдалилась на десять шагов и улизнула, скрывшись за первым же поворотом улочки.

* * *

В тот вечер ага множество раз посмотрелся в зеркало. Уже стемнело, и мерцанье свечей в покоях вкупе с душевным потрясением от речей оракула вынуждало его казаться самому себе побледневшим.

Он протянул руку к столу, но есть ему не хотелось. Набил трубку, но не хотелось ему и курить.

Он поворотился к хануме, своей жене.

— Это правда, ханум, что я побледнел, исхудал за последнее время?

Ханума поглядела на него пристально.

— Побледнел?.. Нет же; выглядишь ты очень хорошо. Выпей пару сладких шербетов; завтра поутру я тебе приготовлю

¹⁹ Искажённое *istağfurullah*, от арабского *astağfiru llāh* (дословно — “прошу прощения у Бога”, в разговорной речи — аналог христианского “Господи помилуй”).

халвы и погачу покушать. Повешу-ка я тебе и талисман обережный, чтобы дурной глаз не пристал.

Фатме, служанка, что сновала туда-сюда, выполняя всяческие поручения, — то поднося уголёк к трубке своего господина, то устанавливая подушку в изголовье софы, чтобы тот мог облокотиться, то снимая сафьяновые ботинки с его ног, — услышала разговор и невольно обернулась.

— А ты что скажешь, Фатме, — не удержался от вопроса ага, — взаправду я побледнел? Изменился мой вид?

Фатме же, — почуяв, может статься, возможность отомстить за побои, которые ей частенько перепадали, — отвечала:

— Господин мой побледнел... почернел... чёрный стал, как моя шкура.

Ханума схватила свой башмак и запустила им в направлении лица служанки, которая между тем уже отвернулась и ушла из покоев.

* * *

С того дня ага начал бледнеть и худеть, и аппетит у него пропал.

Он погрузился в хандру, стал грубым и неприятным. Трубку он всегда держал теперь погашенною, подмышкой, готовый за каждое прекословие, за каждый лишний вопрос обрушить её на спину говорившего.

Сираино Пантуса из села исчезла. Она сама испугалась своей затеи. Испугалась своего собственного языка, своего собственного дурного глаза.

Похоже, напугали её и сельчане. Старуха, несколько дней назад выдвинувшая постулат о том, что “от Турции не

избавиться”, сказала ей:

— Тебя ж повесят, деточка. Кто за тебя заступится? Думаешь, помилуют тебя за то, что ты баба? Стоит ему в свисток свистнуть, набегут турки, тысячами, и оттуда, и сверху (она указала на западный и на северный материк), и кровью умоется бедный наш островок.

Тётка Сираино поднялась посреди ночи и ушла из села. Поговаривали, что пряталась она в месте весьма безопасном. В некой пещере, которая имела второй, тайный, выход за горою, и о которой ни одна душа не ведала, кроме её племянника-пастуха, приносившего ей хлеб каждые три дня.

Доподлинно известно, что с нею ничего не случилось и она прожила до 1865 года. Девяностолетнею она самолично рассказывала о сём происшествии.

* * *

В течение ещё двух недель ага выходил по утрам из конака, шёл к мечети и по-прежнему пел своё “Ля иляха”, а затем направлялся к Павильону.

Каждого из присутствовавших, с кем ему приходилось заговорить, он спрашивал:

— Это верно, что я побледнел? Что я исхудал?

— Ничего с тобой не случилось, господин ага, — отвечали ему.
— Ты похудел слегка, но не стоит о том беспокоиться. Гуляй побольше. Скоро опять окрепнешь. Тутошный воздух тебе на пользу пойдёт; воздух тут свежий.

Такие давали ему ответы. Впрочем, ответить иначе ему и не могли бы, готовому замахнуться трубкой.

На третью неделю ага прекратил выходить из конака.

Сил у него более не оставалось. Печёнки надорвались. Он не мог даже прикоснуться к блюдам, стоящим на столе.

Тщетно ханума удваивала свои заботы. И Фатме-арапка не смела теперь сказать, что её господин почернел, как её собственная кожа. Он на самом деле был бледен, как воск, и бел, как простыня.

* * *

На третьей неделе больной не нашёл в себе сил дойти до мечети.

На пятой неделе после предсказания, данного ему тою женщиною, однажды утром, он со страшным усилием преодолел себя и вышел из дому.

Волоча ноги, он вошёл в мечеть. Фатме, сопровождавшая его, помогла ему взобраться на стол.

Он высунул голову из окна и начал петь “Ля иляха илляллах, Аллах акбар, Мохамет ресул-л-аллах”. Пел он изо всех сил, и молитва отозвалась эхом внизу, в волнах моря. И вдалеке пустынная, отвесная, полая изнутри скала мыса повторила её скорбным голосом.

Спустившись со стола, ага почувствовал сильную усталость. Дрожа, он присел рядом с тем же столом и машинально открыл лежавший там Коран.

По странному совпадению, на открытой странице взор его упал на следующие стихи третьей главы, или третьей суры:

«Всякому человеку надлежит умереть не иначе, как по воле Бога, сообразно книге, в которой определено время жизни».

Ощувив головокружение, он поднёс руку ко лбу, прикрыл глаза. Затем открыл их снова и прочитал:

«Бог обратил вас в бегство от лица ваших врагов...

Если вы и в домах своих останетесь, то те, кому в книге предначертано умереть, умрут. Стрела, коей вы избегнете на войне, настигнет вас.»

Он скрежетнул зубами и сжал кулак, заходясь яростью от того, что не мог сражаться во имя Ислама и резать неверных.

Он полистал книгу и нашёл следующие стихи второй суры:

«О, верные! Убивайте неверных, где ни застигнете их; изгоняйте их, откуда вас они изгнали; сражайтесь с ними дотоле, покуда не будет уже вам искушения, и покуда не установится ваше поклонение единому Богу.»

После того ага, опираясь на Фатме, возвратился в конак, вошёл в свои покои, лёг на свой мягкий диван и более уж не поднялся.

Говорила ведь Сираино-пророчица, что сорока дней он не проживёт.

И действительно, ага помер на тридцать девятый день после предсказания, и помер он от предсказания, — от внушения, от порчи, наведённой тою женщиною. Помер, потому что был хвор.

А на другого Больного, хронического, чей недуг длится уже четыреста сорок четыре года, — на него кто наведёт порчу?

УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦА

“...В ту ночь я вновь поднялся на гору, чтобы встретиться с кузиной Махулой. Говоря по правде, я не знал наверняка, суждено ли мне её встретить, но, движимый порывом страсти, я отправился туда на поклон и чувствовал необходимость оживить старинные воспоминания.

То был последний раз, когда мне предстояло увидеть в тех пустынных местах мою кузину Махулу. В первый раз, двадцать лет назад, я встретил её в глубине чащи, близ огромной древней целлы или теменоса из исполинских мраморных глыб: они принадлежали, вероятно, храму богов, ещё до Прометея построенному. Вплотную к этому странному зданию, выставившему, словно лик Сфинкса, свой загадочный фасад, стояла позднейшая бедная церквушка, посвящённая святой мученице Анастасии. Там и повстречал я двадцать лет назад мою кузину Махулу.

Раз позднею осенью она отправилась туда вместе с одним попом, чтобы отслужить литургию в церковке. По завершении службы поп выпил свои кофе и ракию перед самым входом церквушки, на свежем воздухе, у огня, разожжённого для кадила и для “теплоты”, попрощался с женщиной и удалился. Моя кузина Махула осталась, вместе со своей маленькой семилетней дочуркой и двумя другими женщинами, соседками, сопровождавшими её в пути. Те бродили по холмикам и

оврагам, окрест храма, собирая съедобную зелень и грибы. Кузина же моя Махула занялась вот чем.

Она зажгла семь свечей на двух подсвечниках, что были в церквушке, пред иконами Христа, Богородицы, Предтечи и святой Анастасии. Казалось, будто после ухода попа она хотела отслужить новую литургию, куда более таинственную. Зажёгши семь свечей, вынула она из своей вместительной корзины предлинную, более чем во сто сажений, тонкую верёвку, ярко-жёлтую, благоухающую, навощённую. Это был гигантский хлопковый фитиль, который она целиком свила своими руками и своими же руками покрыла свежим пчелиным воском.

Эту вот огромную свечу привязала она к кольцу старинной, изъеденной древооточцами двери храма, а затем стала тянуть её и помалу вытаскивать из корзины, где та была смотана в искусный и легко распускаемый клубок, и, двигаясь вдоль внешней стены церквушки, прилаживать её вплотную к стене: сперва в половину длины западной стены, до юго-западного угла, затем вдоль всей южной стены, затем, после поворота юго-восточного угла, вдоль стены восточной, вместе со всею выпуклостью, образованной апсидой алтаря; потом обогнула она левый угол, прошла вдоль северной стены и через северо-западный угол возвратилась вновь к двери церквушки. После этого она обошла новый круг, точь-в-точь такой же, как первый, и приладила новый виток навощённой нити ровно под первым и как можно ближе к нему. Затем последовал третий круг, и четвёртый, и так далее, вплоть до седьмого.

Семижды обошла вокруг здания и семью витками вощёной нити обвязала моя кузина Махула всю церквушку.

И женщины, вернувшись только что с корзинами, полными трав и грибов, крестились и благословляли её, говоря:

— Пусть явит чудо Узорешительница! Святая те в помощь!..

* * *

Это святая Анастасия Узорешительница — та, что снимает чары, что разрешает всякое колдовство и всякие лукавые козни, от врагов исходящие. Мне, нечаянно оказавшемуся там, такие дела показались странными, как и должны были показаться ученику третьего класса провинциальной гимназии, сбежавшему сразу после начала занятий, в середине года. Но кузина Махула знала, что делала.

Один сын, безмерно любимый, был у неё. И четверо дочерей, старшей из которых было уже шестнадцать лет. Сыну же, первенцу, скоро должен был пойти двадцатый год. И уже было ему невтерпёж, уже хотел он жениться.

На него навели чары бабы из Дальней Слободы. Помутили ему рассудок. Кто знает, что за привороты они делали, и какими зельями его опаивали. Те бабы понимали толк в чародействах...

Так полюбил он одну девушку, старшую годами, чем он, и хотел взять её в супруги.

“Или я её возьму, матушка, или себя убью.” Чувство его было крепко. Он сох от страсти. Но что должна была делать теперь моя кузина Махула? Позволить сыну взвалить на себя хомут, со столь молодых лет, и самой остаться с четырьмя незамужними дочерьми, на них любоваться? Какой родитель на такое согласен?

Итак, она ударилась в богомолье. Совершала множество служб, и освящала дом, и молилась. Взяла одежду сына и положила под Святой Престол, чтоб над ней отслужили литургию. Изнуряла себя многочисленными постами, бдениями и поклонами.

Наконец, прибегла она к милости святой Анастасии Узорешительницы. От Бога той дана была сила разрешать чары и привороты. Она пошла, отстояла службу, обвязала храм семижды (творя свою собственную, особую, литургию, горячую от материнской любви) стосаженною свечою, которую свила

собственными руками, и взмолилась к святой, дабы та разомкнула чары и вернула рассудок её сыну, сохнущему от любви и опоённому злыми зельями, дабы не сходил он с ума понапрасну...

* * *

Все эти события я вспоминал и представлял в уме так живо, как если бы они случились вчера, хотя с тех пор миновало уж более двадцати лет. С заходом солнца вышел я из городка и добрался в сумерках до Змеиного оврага, откуда начинался высокий, отвесный подъём на Варандас. Луна ещё не взошла, потому как то был второй или третий день после полнолуния. В овраге, далеко внизу, отдавался эхом гул потока, образованного тающими снегами. И высокая чёрная скала вздымалась предо мною, таинственная во мраке.

Шёл месяц март. Поток гудел, рычал, нёсся вниз с громыханьем, лился, создавая два падуна, и господствовал над ночной тишиной. Это громыханье вселяло страх в мою душу, узнававшую в себе сходство с оврагом. Вся она была подчинена коварной страсти, как глубокий овраг и молчание ночи были подчинены оглушительному рёву.

Поначалу я с трудом различал тропу, прорезавшуюся среди мхов и густых кустарников. Чуть погода я начал видеть некий отсвет впереди, на обрывистом склоне. Первые лучи луны посеребрили верхушки дерев. Я дошёл до подножья горы и стал взбираться вверх по склону. Когда же я поднялся более чем на две тысячи шагов, торопясь и задыхаясь, то увидел вдали луну, со стороны лесистого холма, скрывавшего горизонт за моею спиною: увидел луну, высвобождавшуюся из-за гребня противоположной, отдалённой горы, и, показалось, на какие-то минуты она огнём зажгла одинокое дерево, стоявшее на вершине высокого холма, замыкающего залив; чудилось, будто дерево полыхает; затем Геката, оставив от дерева чёрную и мрачную головню, поднялась медленно, в сиянии и светлом апофеозе, над гребнем горы.

Спустя некоторое время я достиг вершины горы, затем прошёл по плоскогорью, при ярчайшей луне. Так я добрался до противоположного склона, где вновь обнаружил пред собою тени, лесистые места и разные страхи. Немного ниже располагалась там маленькая усадьба Янниса Стойоса, моего простого друга-крестьянина. Я переступил через низкую ограду, вошёл во двор и постучал в дверь.

Стойос ещё не ложился спать: в слуховом окне горел свет. Я окликнул его по имени. Узнав мой голос, он явился и отворил мне. Радужно он предложил мне гостеприимство и ночлег.

Я, однако же, не понимал, зачем постучал в дверь, — ни спать, ни даже дремать мне не хотелось. Когда Яннис уснул, я взял свои палку и шапку и вышел, крикнув, чтобы он, если хочет, запер за мной дверь; тот, спавший неглубоким, “заячьим”, сном, ответил мне спокойным бормотаньем, не просыпаясь.

Я спустился ещё ниже под гору. Луна поднялась уже до середины небес и освещала весь склон. По пастушьим дворам запевали петухи. Сойдя в узкую рощицу, я свернул влево и оказался у пустынной церковки святой Анастасии.

...И сейчас, двадцать лет спустя, когда я начал уже увядать, сполна испробовав всего хмеля и всей горечи жизни, если бы захотел я обвязать свечою храм мученицы, даже чистого воска я не смог бы найти: свечники издавна торговали свечами из разбавленного примесью воска, но теперь и сами пасечники научились разбавлять воск перед тем, как его продать. И церквушка святой Анастасии пребывала в разрухе и душераздирающей неухоженности, потому как и христианское благочестие сильно умалилось за прошедшее время. Лишь две иконы, засаленные и истёртые, оставались на прогнившем иконостасе: образ Спаса справа, а слева образ агницы Его, обратившей к Нему лик и словно вопиющей велиим гласом: “Тебе, Женише мой, люблю!” Образа Богородицы и Честного Предтечи исчезли. Быть может, их изъяли оттуда руки собирателей древностей или ценителей византийского искусства...

Только две лампадки, полурасколотые или растрескавшиеся, были в храме; северный вход алтаря был теперь без двери; в единственном, южном, окне не было створки, Престол и жертвенник, пустые и незастланные, были покрыты пылью... Освящённая и семь раз препоясанная, церковка не действовала более.

«Ни всесожжения, ни приношения, ни места, чтобы нам принести жертву Тебе». И тайная литургия, которую свершила многие годы назад у стен храма любвеобильная Махула, моя кузина, должно быть, не повторялась уже давно.

* * *

О!.. Всего лишь семью?.. Семьюдесятью витками мне пришлось бы сейчас обвязать храм святой Анастасии!.. Столько раз обвила моё сердце колючая ветвь горькой любви, столько раз стиснула её ползучая, коварная страсть... я боялся поведать святой, стыдился признаться себе самому, что я был, хотя юность моя уж миновала, жертвою и добычею страсти...

Но к чему было мне приносить свечи и ладан, к чему обвивать храм свечами?.. Святая, вероятно, и могла бы меня исцелить, но сам я не желал исцеляться. Я предпочёл бы сгорать в медленном пламени... Есть ли в раю святые, внимающие молитвам влюблённых?.. И там, рядом с церковкой Узорешительницы, в том древнем здании из мраморных глыб, исполненном тайны, не было ли некогда святилища Афродиты, не было ли алтаря Эрота?

О! И всё же я колебался... порою я желал исцелиться, если то было возможно. Помоги мне, святая Анастасия!

* * *

Когда я закончил осматривать церковку, уже рассвело. Часы пролетели незаметно для меня, и я, в ночном забытии и в грёзах, не чувствуя холода, провёл почти всю ту мартовскую ночь под открытым небом. Я удалился из церкви, испытывая

невольное облегчение от того, что святая, раз её храм пребывал в запустении, не пожелала бы теперь меня исцелить.

И тут, совершенно на то не надеявшийся, я встречаю кузину Махулу... Она была всё такой же, как двадцать лет назад, лицо её почти не изменилось, и ни седого волоса не было в её косе, ни морщины на лбу. Она была из тех женщин, кому даётся вторая юность, ещё более цветущая, нежели первая. Бледная, простоватая и бесхитростная, сперва она казалась некрасивой, но уже со второго взгляда что-то обнаруживало в её лице неизъяснимую нежность. Она была и невестою, и жрицею, и женою.

— Откель в наших краях, братеник? — говорит она мне.

У кузины Махулы был оливняк в тех местах. В тот год выдался богатейший урожай, и, хотя уже шёл март месяц, небольшая корзинка, которую Махула держала на сгибе левого локтя, была полна оливок, “хамад” (или “фрумб”), отборных и лоснящихся: последние оливки ещё падали с деревьев в начале весны. Это урочище воспринимала она как свою округу, оттого и спрашивала: “Откель в наших краях?”

Я поприветствовал её и присел на какой-то краешек под оливковым деревом на опушке оливняка. Махула, подойдя, поставила корзину рядом со мною и, тщательно одёрнув обеими руками подол своего платья, села чуть поодаль.

— Нравятся тебе хамады, угостить тебя, братеник?

— Сестреница Махула, — начал я, никак не ответив на её заботливое предложение, — помнишь, когда я был маленьким, ты обвязывала вощёной нитью церковь святой Анастасии?

— Помню, — отвечала она.

— Скажи мне, как если бы я сам не знал: для чего ты это делала?

— По обету, потому, что Манолакис мой чах от любви, и потому, что это святая Анастасия, велика её милость, снимает привороты; вот я и обвязала её церковь, и молилась, чтобы, ежели моё дитя приворожили, она сняла с него чары.

— А потом что случилось? Расскажи мне всё, как на духу: ты ведь знаешь, меня долго не было на родине, и я не мог обо всём разузнать, как следует.

— Видать, не привораживали его, а он сам по себе влюбился, и святая, раз не было приворота, не могла насильно изменить его мысли, ведь он сам и по своей воле впустил в себя эту любовь. Так что святая явила чудо иначе: как я исполнила обет, не прошло и месяца, и та девушка обручилась с другим, а потом сыграли и свадьбу. Тут я испугалась, как бы дитя не сошло с ума или не сделалось у него чахотки от горя, и дала обет Богородице Качальнице, велика её милость, чтоб спасла его от безумия и от хвори. Тяжко ему пришлось, потерял охоту есть, пожелтел, как свечка, иссыхал заживо... Но всё ж явила Богородица своё чудо, и не сделалось ему ни безумия, ни чахотки. Через какое-то время пришёл в себя.

— И что с ним теперь?

— Теперь он плавает на нашем голете, на Востоке... Получил капитанский диплом и правит сам, отец-то его состарился и не ходит в море... Похоже, стал он выпивать, Манолакис-то, но не слишком, я думаю... Поседел, а жениться не хочет. Для меня-то оно и к лучшему, братеник. Вот он помог мне, и двух девок я устроила, остались ещё две... Оно и к лучшему, что избежал мытарств. Да и нет толку размножаться людям сверх меры. Сосед мой Костандис Ригас, умный человек, повидавший мир, ежели узнает, что родился мальчик в округе, и увидит, как бабы и родственники празднуют, так говорит: “Гуляй, народ: ещё один батрак на свет явился!”

Затем я спросил кузину, не случилось ли ещё чего-либо необычного в связи с этим делом. Махула ответила:

— Раз вечером о ту пору я возвращалась домой из оливняка и зашла к святой Анастасии перекреститься и зажечь лампадки; пока смеркалось, я всё слышала какой-то шум, и престранный шум, в том соседнем зданье из мрамора, про которое говорят ещё, что оно проклято... Потом в другой раз, ночью, мне привиделось во сне, будто я была в церкви святой, и будто увидала что-то странное, как оно высовывается и выходит, и катится прочь из того проклятого зданья... И причудилось, будто появилась красивая девушка, очень красивая, всё лицо её светилось, и она дала мне цветочек, белый, благовонный, и говорит мне: “На, дай своему сыну понюхать: это цвет эдемский”. Вдруг возвращается та тварь, странная, чёрная с красным, что выскочила из старого зданья, возвращается, значит, разъярившись, и бросается на меня, и всё хочет вырвать из моих рук цветочек, который мне дала та красивая девушка, видать, святая Анастасия... В тот миг святая появляется снова, как будто вышла из царских врат алтаря, и вербной веточкой, что держала в руке, раз, и срубила ему лапу, треклятому, что хотел забрать у меня цветочек... Вот что мне привиделось.

* * *

Весь день блуждал я по оврагам и по взморью, вдоль дикого побережья, северного, истерзанного прибоем, и лишь к закату возвратился в усадьбу Стойоса, чтобы немного вздремнуть. Когда я проснулся, уже взошла луна, но я утратил охоту спать на весь остаток ночи.

Ноги сами вновь принесли меня к часовне святой Анастасии. Я зажёл кусок свечи из умеренно разбавленного примесями воска: её я купил накануне в городке, разрезал на четыре части удобства ради, и, завернувши в бумагу, убрал в карман. Минувшей ночью я забыл выложить из кармана обрезки свечи.

Я прилепил эту свечу к подсвещнику и присел в одной из двух или трёх имевшихся там стасидий отдохнуть... Потом мне захотелось преклонить колени, и я попытался молиться, но

забывался в дрёме. Я закрыл глаза, надеясь поспать, но боль бодрствовала у меня внутри.

В одинокие часы той ночи, среди бессвязных молитв и невольных богохулений, я уплывал, как в беспамятстве, в иной мир. Я слышал звуки, шёпоты и голоса. Мне мерещилось, что воспоминания и образы, осаждавшие мой разум, обретали очертания и тела, галдели в ушах моих, как стаи неисчислимых крылатых душ; я смотрел на икону святой, и она казалась мне такой прекрасной, какой явилась во сне кузине Махуле. Затем почудилось мне, что другой образ встал пред иконой и закрыл её.

В то мгновение я услышал громкий шум, раздавшийся снаружи, справа от храма, где находилось древнее, “проклятое”, здание. Немедля мне пришёл на ум рассказ кузины Махулы. Я схватил свечу и выбежал за дверь.

Дул прохладный ветерок, угрожая загасить свечку. Поскольку мне приходилось прикрывать пламя ладонью, я ничего не видел, кроме церковной стены. Луна была затянута облаками. Я едва различал в полумраке мраморное здание, и более ни зги. Мне показалось, будто что-то спрыгнуло со стены и обратилось в бегство; быть может, то был дикий кот, или ласка, охотившаяся в темноте.

Я вернулся в храм и сотворил крестное знаменье. Вновь сел в стасидии. Фигура, что мне мерещилась стоявшей там, с чистотою в опущенных долу глазах и сладостью вокруг уст, медвяных и нежных, обменивалась знаками, как мне показалось, с иконой святой. Мне почудилось, что губы её шептали мольбу, и взгляд иконы отвечал согласиём...

Сон тогда объял меня, сидевшего в стасидии. Сон был без грёз, все грёзы развеяла бдительность. Только в глубине моего сознания послышался некий голос, похожий на оракул, прошептавший неясно: “Ступай, неисцелимый: боль будет твоей жизнью...”

Я проснулся. Поднялся и ушёл. Я чувствовал злую радость от того, что святая не вняла моей молитве.”

1900

ПЛАЧ ТЮЛЕНЯ

Под омываемый прибоем обрыв, — туда, куда ведёт тропинка, начинающаяся от мельницы Мамоянниса, в местечко против погоста Мнимурья, немного западнее, к низкому береговому выступу, который деревенские сорванцы, в летние дни не перестающие с зари до заката плескаться неподалёку, называют Ракушкой, — такие очертания он имеет, — спускалась поздно ввечеру, держа подмышкою узел с бельём, бабка Лукена, нищая старуха, чтобы постирать свои шерстяные простыни в солёной волне, а затем прополоскать их в маленьком источнике Глифонери, что слезою пробивается из сланцевого утёса и мирно сливается с морской водой.

Она медленно спускалась по склону, по тропинке, и тянула шепчущим голосом глухую, скорбную погребальную песню, поднося то и дело ладонь ко лбу, дабы прикрыть глаза от сияния солнца, заходившего за гору на противоположном берегу и ласкавшего своими лучами маленький сад и могилы усопших, белым-белые, выкрашенные извёсткою, сияющие в последних отблесках дня.

Она поминала своих пятерых детей, которых похоронила на сём гумне погибели, в сём вертограде тления, — одно дитя за другим, многие годы назад, когда ещё была молодою. Двух девчуток и троих мальчиков, всех в младенческом возрасте, прибрала ненасытная жница.

Последним прибрала она и мужа старухи, и остались два сына, сейчас живущие на чужбине: один отправился, как он говорил, в Австралию и уже три года не посылал писем; она не знала, что с ним случилось; второй, младший, ходил на кораблях по Средиземному морю и порою о ней вспоминал. Осталась и одна дочь, теперь уж замужняя, с полудюжиною детей.

При ней-то и прислуживала теперь, на старости лет, бабка Лукена, и ради неё спускалась под обрыв, по тропинке, чтобы

постирать покрывала и прочие дерюжки в солёной воде и затем прополоскать в Глифонери.

Старуха склонилась над краем низкой, изъеденной волнами скалы и взялась за стирку. Справа от неё возвышался более ровный, пологий склон земляного холма, на котором располагался погост и по откосам которого век за веком катились ко всеприимному морю обломки гнилой древесины, вырытые во время перехоронок, то есть перенесения человеческих остовов, остатки золотых башмачков и парчовых рубашек, некогда погребённых вместе с юными девушками, пряди белокурых волос и другие трофеи смерти. Над её головою, немного правее, в небольшой потаённой пещерке со стороны погоста, уселся молодой пастушок, который, возвращаясь с полей со своим малочисленным стадом и не задумавшись о скорбном свойстве здешнего места, вынул дудку из своей сумы и принялся наигрывать весёлую пастушескую песню. Гудение дудки заглушало причитанье старухи, и люди, шедшие с полей в тот час, — солнце тем временем уже село, — слышали одну лишь дудку и оборачивались посмотреть, где находился дударь, но того было не видать, спрятавшегося за кустами, в глубокой впадине утёса.

* * *

В заливе, поднявши все паруса, маневрировал голет, но паруса его полоскали, и ему никак не удавалось обойти западный мыс. Тюлень, что пасся неподалёку от берега, на глубоководье, услышал, быть может, тихий плач старухи, — а может быть, его привлекла шумная дудка юного пастушка, — и выбрался на отмель, и теперь наслаждался звуком, качаясь на волнах. А маленькая девочка, — то была старшая из старухиных внучек, Акривула, девяти лет от роду, — то ли по поручению своей матери, то ли ускользнув тайком из-под её неусыпного надзора и узнав, что бабка отправилась к Ракушке стирать, — пошла разыскивать старуху, чтобы немного порезвиться у кромки прибоя. Однако же, она не знала, где начиналась тропа, пролежавшая близ мельницы Мамоянниса,

против погоста Мнимурья; слышав дудку, она пошла в ту сторону и обнаружила спрятавшегося дудочника; вдоволь наслушавшись песен и налюбовавшись юным пастушком, она увидела рядом с собою, в полумраке вечерних сумерек, крохотную тропинку, очень крутую, отвесную, и решила, что по ней-то и спустилась старуха, её бабка, — и ступила на эту отвесную крутую тропинку, дабы встретиться с бабкою на берегу. А меж тем уже стемнело.

Малютка спустилась на несколько шагов и обнаружила, что далее тропинка становилась ещё отвеснее. Она вскрикнула и попыталась было взобраться наверх, вернуться обратно. Находилась она на кромке выступающей скалы, на высоте в два человеческих роста над морем. Небо потемнело, звёзды скрылись за тучами, и месяц был на ущербе. Как ни силилась девочка, она не находила пути, по которому только что шла. Она вновь глянула вниз и попыталась спуститься на берег. Нога её поскользнулась, и она упала — плюх! — в морскую волну. Вода была столь же глубока, сколь высок был утёс над водою. Быть может, целых две сажени. Гудение дудки заглушило крик. Пастушок услышал всплеск, но оттуда, где он находился, ему не было видно основания скалы и края прибоя. Кроме того, он и прежде не обратил внимания на маленькую девочку и почти не почувствовал её присутствия.

* * *

Когда стемнело, старая Лукена завязала свой узел и начала подыматься по тропке, направляясь домой. На середине пути она услышала всплеск, поворотилась и поглядела во мрак, в ту сторону, где находился дудочник.

— А, это тот свистульщик, поди, — сказала она, потому что была с ним знакома. — Мало ему покойников будить своей дудкой, ещё и камень в море кидает, дурью мается... Блажной и безурядный.

И двинулась дальше.

* * *

Голет тем временем продолжал свои манёвры в заливе. И юный пастушок продолжал дудеть в свою дудку среди ночной тишины.

А тюлень, выбравшийся на мелководье, нашёл маленькое утопленное тело бедной Акривулы и ползал вокруг, оплакивая её, пока не решил приняться за свою вечернюю трапезу.

Плач тюленя перевёл на человеческий язык один старый рыбак, хорошо знакомый с бессловесным тюленьим наречием, и говорилось в нём приблизительно следующее:

*То Акривула умерла,
то внучка старой Лукены.
Трава морская ей венец,
приданое ракушки ей...
А бабка плачет до сих пор
по своим прежним детушкам.
Ах, ни конца, ни краю нет
страданьям человеческим.*

МОГИЛУШКА ПУСТЫННАЯ

“Могилушка пустынная...” — такими словами начала своё причитание молоденькая Катерина, младшая дочь Христоса Сарриса, когда из скромного храма вышла кучка людей, пришедших на сельские похороны из южного прибрежного городишки. Тесную могилку выкопали к востоку от церкви, вплотную к алтарной апсиде, и отец Апостолис, помахивая кадиллом, пел последние слова Трисвятого, и два любимых певчика Божией матушки из Верхнего Прихода, Куклёнок и Бонаки, неторопливо и глубоко выводили “Зряще мя безгласна”, и отец Стамос, склонившись, поднял обломок черепицы со всеродящей земли и пытался ножиком начертить на нём крест, окружённый буквами “IC. XC. NI-KA”. И старуха Флору в слезах и словах изливала свою боль: что ей, пять лет назад похоронившей единственного сына, суждено было ещё пожить на белом свете, чтобы дать последнее лобзание и своему внуку-первенцу. И молоденькая Катерина всё начинала и никак не могла закончить свой плач:

*Могилушка пустынная среди травы-полыни,
скажи, где пташечка моя летает на чужбине.*

* * *

Юноша уехал четыре года тому назад, едва достигнув семнадцатилетия, — уехал в Америку, как и все. Он заразился от окружающих эмиграционной лихорадкой, хотя был бы полезен у себя на родине, где его отец содержал хорошую лавку. Юный Никос отправился в путь, почти не спросясь отца, и провёл более трёх лет, работая на чужбине. Наконец, весной сего года, в одно из воскресений после Средопостия, он неожиданно возвратился на островок. Возвратился больным, истощённым и исхудавшим, как скелет.

Прожил он пять недель. Его лечили дома, окружив безграничную нежной заботой. Затем, в конце апреля, его охватили нестерпимая тоска и неудержимое желание сменить обстановку.

— Батюшка, отвези меня к святому Илье. Там я поправлюсь.

— Не время ещё, сынок. Холодно на дворе и сырость стоит.

— И когда ты меня отвезёшь?

— Пусть пройдут ещё денька два.

На следующий день больной начинал снова:

— Батюшка, когда ты меня отвезёшь к святому Илье? Я там выздоровлю, у родника, под платанами.

— Пусть распогодится сначала, Никос. Гляди, дождь поливает.

— А когда распогодится?

— Когда май начнётся.

— А когда он начнётся?

— Послезавтра, в субботу.

— Поедем лучше в келью старца Петра, там встретим май. Разве не хорошо будет, если мы завтра в ночь поедем, матушка?

В помощь себе он призывал материнскую боль. Исстрадавшаяся женщина кивнула головой.

Днём дождя не было, и накануне первого мая семейство, погрузив больного вместе с его пожитками на мула, двинулось в келью старца Петра.

Этот скит, устроенный по особножительному укладу, некогда служил прибежищем двоим отшельникам-духовникам, давно уж усопшим, и последним их преемником оставался

старец Пётр, простой монах, он же садовник на прилегающем крохотном участке земли. Здание было большим, недостроенным, неукрашенным, с совершенно пустыми комнатами и протекающей крышей.

Они выбрали комнату, постелили простыни и растопили очаг огромными поленьями.

Но дымоход, дурно построенный и неухоженный, извергал весь дым в комнату, и к вечеру, когда семейство село ужинать, она была полна чада. Старец Пётр, принимавший участие в трапезе, начал пересказывать трём женщинам — матери, дочери и бабке, — и отцу больного разные синаксарии. Как невинные младенцы, безвременно скошенные ангелом смерти, по праву просят Христа: “Ты лишил нас блага земного, Царю Святой Господи, так подай нам благо небесное”. Как святой Клим целый год укрывал под водою живое дитя, потерянное родителями. Как в давние времена некая хозяйка принимала у себя дома праведного авву, а между тем, в то время как она прислуживала ему за столом, дитя её упало в дворовый колодец. Женщина, поразмыслив, сочла дитя утопшим, стиснула губы, проглотила боль и ничего не сказала гостю, дабы не расстроить его. Авва же спросил: — Где твоё дитя? Та отвечала, что оно уже заснуло, как и положено детям, рано отходящим ко сну. Когда авва ушёл, бедная мать позволила своим слезам, кои она сдерживала столь долго, хлынуть потоком, и склонилась к колодцу, пытаясь найти труп своего чада. О Божие чудо! Дитя было живо. Он плавало во вспенившейся воде, улыбалось и звало свою матушку: мама! Мама! Когда женщина наконец его вытащила, дитя рассказало, что тот седобородый старик в чёрной рясе, что приходил к ним домой, всю ночь держал его над водною пеною, не давая утопнуть, и показывал ему прекрасные сады и луга, и убаюкивал тихими тропарями, и забавлял его.

Наконец, около полуночи небо вновь разразилось дождём. Вода обильно полилась в дымоход, огонь угас, и дым в комнате рассеялся. Поутру больной, вовсе не спавший, и его домашние, которым удалось лишь немного вздремнуть, встали замёрзшими. Было мая первое число.

Миновал день, с его скудными полевыми цветами и холодными венками из дикого винограда, и мощный ветер задул в тяжелолистных платанах, и дождь перестал. На следующее утро, в воскресенье святых мироносиц, отец Стамос приехал отслужить литургию у святого Илии по просьбе страждущего и мёрзнувшего семейства.

В воскресную ночь юный Никос потребовал, чтобы мать спела ему какую-нибудь песню, и упросил бабушку рассказать ему сказку, дабы развеять одиночество и однообразие.

Старая Флору уже углубилась в свой рассказ и говорила: “И побежала царевна, на всём белом свете самая прекрасная, горя от нетерпенья и радости, побежала отворять ворота царевичу, Яннакису, который сорок змеев усыпил, чтобы принести ей золотую птицу, — побежала царевна, а птица у неё из-за пазухи-то и вылетела...”

Внезапно юноша широко открыл рот, резко запрокинул назад голову, и душа его покинула тело.

Старуха немедленно поняла, что случилось. Тремя крестными знаменьями она запечатала ему уста, положила руки на его горячие веки и опустила их. Затворила померкшие очи.

Старец Пётр подоспел с утешеньями и помощью. Усопшего обрядили и уложили на пол посреди комнаты, со сложенными крест-накрест руками и восковым крестиком во рту.

* * *

Утром в понедельник всё селение уже знало о происшествии. Не нужно было ни приглашений, ни объявления, ни звона колоколов, чтобы к девятому часу множество местных жителей, мужчин и женщин, друзей, посторонних и приезжих, даже недругов, преодолело “большой подъём”, как по обыкновению называли дорогу к Пророку Илье, и поднялось на

гору, чтобы присутствовать при выносе тела несчастного юноши.

Сельские похороны были красивы, скромны и трогательны. Цветы и свечи, вздохи и ладан, тропари и причитания, и дуновения ветра в огромных ветвях платанов, и колыханье плюща, и рокот большого источника со вторящим ему журчанием ручейков, и смутное, далёкое соловьиное пение, — всё соединялось в “плач, и стон, и горе”, скорбя о бедном юноше, проскользнувшем сквозь земную жизнь, словно тень от дыма, словно сон разбуженного и словно лепесток розы, что был подхвачен незримым крылом буйного ветра и унесён в далёкие дали.

А “могилушка пустынная” молчала и не желала поведать, где нашла гнездо пташка, улетевшая и навеки исчезнувшая.

СИРОТИНУШКА

— О! Это есть первый раз: челофек грызёт другой челофек!

Так выразил, сквозь смех, своё изумление добрый баварец Вильгельм Вильд, на протяжении пятидесяти лет исправно занимавшийся на С... медицинским ремеслом, когда однажды вечером его позвали осмотреть зияющую, кровоточащую рану над правую бровью одной честной хозяйки, Арети Кавулены. Врач обследовал рану, хорошенько очистил её хирургическими ножницами, затем зашил с большою тщательностью. Причиною раны был, очевидно, укус человека, причём женщины, — но глубина и ширина отпечатков свидетельствовали о том, что нанесён он был со звериною яростью.

Прошёл слух, — и весь народ поверил, хотя никто не вызывал ни мирового судью, ни местного полицейского, чтобы те произвели допрос и составили отчёт о случившемся, — что на днях поссорились две сватьи — потерпевшая, Арети Кавулена, и обвиняемая, Арети Харанина (какое совпадение — две добродетели перегрызлись между собою)²⁰, — и вторая, в исступлении своего гнева набросившись на первую, столь чудовищно укусила её за лицо, что бесхитростное замечание немца-доктора было, в некотором роде, справедливо.

Их свойство́ было очень давним, и, как говорится в пословице, “вол издох, артель распалась”. Брат Кавулены и сестра Харанины, в оны дни составлявшие супружескую чету, давно уж отошли в мир иной. Единственным плодом их супружества, единственным следом, что оставили они по себе (единственным, потому что прочие следы поглотила, как мы увидим, влажная стихия) был их сын Стамос Кавулис, ныне двадцатидвухлетний, из-за которого и поссорились две старые сватьи.

²⁰ Имя Арети значит “добродетель”.

Как им было не посориться, ежели тётка Кавулена захотела его женить на партии, которую предпочитала сама, не спросясь разрешения тётки Харанины? По правде сказать, Стамос был желанным и востребованным женихом. Но чтобы тётка по отцу пожелала им распорядиться, словно своим личным имуществом, и чтобы тётка по матери о том не получила известия — где это слыхано? Разве делаются такие дела без того, чтобы родичи спросили друг друга? Более того: некоторые родичи до того строги в этой части, что, ежели их не попросят высказать своё мнение об избранной персоне и её семье, ежели не пригласят на помолвку, на сговор, на свадьбу, они и признать-то не пожелают нового свойственника, будь то жених или невеста.

Родители Стамоса умерли, когда он был младенцем, и, хотя все родственники пеклись о его воспитании, более, чем все они и оне, пеклась тётка со стороны матери, Харанина. Стамос же был не просто сиротою — “круглым сиротинушкой”. После смерти его матери, Зоицы (сгибшей невинно, или, вернее, винно, как мы вскоре увидим), отец его, Яннис Кавулис, почти сразу же взял вторую супругу, под благодетельным предлогом, к которому прибегают все детные вдовцы, — но в нашем случае речь шла не только об уходе за маленьким Стамосом, которому было несколько месяцев: существовала и давняя любовь между Яннисом и Флору, его вторую женою. Затем, спустя год, погиб и отец, тоже напрасною смертью. Мачеха быстро позабыла старую страсть и заново вышла замуж. Так маленький Стамос оказался в доме, некогда составлявшем приданое его матери, с мачехою и мачехиным супругом, отчимом. Родственники хотели было забрать младенца от мачехи, но та, бездетная и, быть может, желавшая оправдаться пред своею совестью за то, что жила и распорядилась в доме своей предшественницы, настояла на том, чтобы его оставили с нею, и выказывала к нему заботливую нежность. К несчастью, в скором времени умерла и Флору. Ангел смерти ополчился со всею жестокостью на тот дом. Тогда отчим взял новую мачеху, и они переселились в другое место. Наконец, тётка Харанина забрала Стамоса к себе и взрастила юношу собственноручно.

В связи с этим последним бракосочетанием был поднят вопрос, дозволяется ли венчание, и консервативный папа-Александр, епитроп Владыки, не хотел давать разрешение по той причине, что эта последняя мачеха, хоть сама и выходила замуж впервые, венчалась с двубрачным отчимом, вдовцом двубрачной женщины, и, стало быть, речь шла о четверобрачии. Но просители “обратились повыше”, сиречь в архиепископию, и протосинкелл, получивший, по слухам, пару сотен (во имя церковной “икономии”, как, по мнению некоторых, случается иногда) без ведома Владыки, пребывавшего почти в недееспособном состоянии, разрешил им венчаться.

Так вырос Стамос, сын Янниса Кавулиса, “круглый сиротинушка”. И нынче, когда ему пришла пора идти к венцу, столь ужасно повздорили две его тётки. Пусть партия, которую отстаивала тётка Кавулена, была хороша и нравилась юноше. Но Харанина считала своё достоинство оскорблённым, потому как хотела показать, что это она, а вовсе не другая тётка, должна была его женить.

Юноша, чуть ли не с мольбою, сказал тётке Харанине:

— Моё горе, тётушка, не твоя беда!

Это выражение, которое он, вместе с прочими пословицами и поговорками, слыхивал от своих дядьёв-Харанеосов (простых и весьма добропорядочных земледельцев), приблизительно значило, что лишь первое лицо было вправе судить о делах, его касающихся, а никак не вторые и не третьи лица. Юноша надеялся своими терпением и покладистостью обезоружить суровую женщину, которую немало уважал, поскольку возмужал в её доме и почитал своею матерю.

О том же, при каких обстоятельствах умерли его родители, мы сейчас расскажем. В пору сбора винограда, когда он был младенцем, его несчастная мать захлебнулась в давяльне, где топтала виноград.

Деревянная давящая была огромной; она вмещала около сотни мер мезги, дававшей примерно столько же бочек сула. У продольных сторон её, к верхнему краю, тянулись два тонких бруса, продолжающих две поперечные стороны, но женщина вынужденная держать левою рукою свои юбки над голеньями, хваталась правою лишь за один брус; в какое-то мгновение, неизвестно как, рука её разомкнулась, и она упала в сусло, погрузившись по самое горло. Агония была краткой; она едва успела испустить крик. Через несколько минут её нашли захлебнувшейся в хмельной влаге Диониса.

О том, как погиб его отец, — а погиб он через несколько месяцев после своей второй свадьбы, — так никогда и не узнали ни сам Стамос, ни его тётки, ни поп, ни духовник, ни кто-либо другой из местных жителей. Было известно лишь, что он утонул вместе со своим голетом, на котором ежегодно перевозил вино — своё собственное и скупленное у соседей. В тот раз он погрузил прошлогодние вина — а вместе с ними и те, которые жертвенными возлияниями наводнили двор его дома и улицу после утопления его жены. О! Роковое вино злосчастной лозы! Но как произошло кораблекрушение, по какой причине голет затонул? Поначалу считалось, что произошло оно так же, как все кораблекрушения, то есть из-за бури, рифа, подводного камня и т. п. Истинную причину знал, быть может, только какой-нибудь престарелый духовник в скиту святой Анны или в Капсокаливии на Афоне. Должно было миновать много лет и зим, чтобы выяснились тайные обстоятельства сего несчастья и сестра виновного поведала об этих событиях одной из своих кузин, — дабы облегчить адские муки, как она сказала, своему покойному брату.

* * *

Брат рассказчицы был плотником (а именно, корабельным мастером) и сноровистым сверловщиком. Это ремесло не мешало ему франтить по выходным и по воскресеньям и слыть ухарем, удалым парнем. В те времена все юноши любого сословья знали, что значит страсть. По ночам, и особенно

накануне праздников, они частенько пели песни под окнами местных красавиц. Яннис Кавулис и Никос Блекарис, сверловщик, о котором идёт разговор, были соперниками.

В Верхнем квартале, над обрывистым берегом, где разбиваются волны и горестно кричат чайки, жила одна красивая девушка, Флору, дочь Манакиса, и многие юноши, — впрочем, даже некоторые старцы, — были в неё влюблены. Было немало молодящихся стариков, принимавших участие в ночных песнопениях. Однажды ночью под окнами прекрасной Флору разыгралась большая свара и потасовка между двумя компаниями. Компания Никоса-сверловщика неспешно прогуливалась под балконом её дома, распевая “Звёздочку зари” и “Уточку морскую”, когда появилась компания Янниса Кавулиса, поющая “Двойное горе”. Две ватаги сцепились в драке. Похоже, Яннис повёл себя по-варварски грубо и своими собственными руками избил своего соперника.

Никос посоветовал ему “завязать узелок на память”, но Кавулис не придавал значенья его словам. Вскоре Яннис, хоть и предпочитал красавицу Флору, поддался влиянию родственников, отверг её и обвенчался с Зоицей. Когда спустя некоторое время она захлебнулась в давяльне с суслом, Яннис вспомнил о своей давней возлюбленной. Флору согласилась пойти за него, пусть даже и овдовевшего, и сыграли новую свадьбу. Она и стала главной мачехой Стамоса, проявлявшей некую нежность к своему пасынку в течение того краткого срока, что суждено ей было оставаться в живых.

Примечательно, что перед тем как она решила взять второго супруга, после гибели Янниса Кавулиса в морской пучине, её родственники от её же имени обратились к тому самому Никосу-сверловщику, её давнему воздыхателю, остававшемуся холостым. Но тот, некогда безуспешно просивший её руки, теперь отказал. Ни друзья, ни домашние не могли понять этого отречения Никоса. Но, как видно из всего, что выяснилось впоследствии, у человека на совести могло быть некое преступление. Сразу же после того он уехал и, поработав некоторое время плотником на верфях Святой горы, отбыл в один приморский город во Фракии, где и обосновался.

* * *

И вот каким, по заверениям его сестры, было преступление Никоса Блекариса. Не зря он был искусным сверловщиком. И он жаждал отомстить Кавулису, бесстыдно унизившему его под окнами Флору, а затем, спустя некоторое время, взявшему в жёны его возлюбленную — да ещё и вторым браком, тогда как его собственное сватовство она отвергла даже после свадьбы его соперника с другой.

Вскоре после того, как Кавулис женился во второй раз, на его голет начали грузить молодое вино. Глубокою ночью, пока молодой боцман дремал в своей каморке, Никос Блекарис тихо-тихо, словно ступал “по ваткам”, как говорят местные женщины, пробрался на голет, неся с собою два больших бурава или сверла, завёрнутых в тончайшую марлю. Он спустился в трюм, зажёл лампу-коптилку, принесённую за пазухой, отодвинул от корабельных бортов несколько бурдюков с вином и просверлил восемь-десять дыр в обшивке судна, справа и слева. Эти дыры он проделал с известным ему одному искусством, обучить коему другого человека никогда бы не согласился. Он пробуравил доски почти на всю толщину, но снаружи, на острие сверла, оставил непродырявленные тоненькие перепонки, которые обработал таким образом и рассчитал так, чтобы через определённое количество дней или часов их уничтожила неустанная однообразная волна, бьющаяся о борта корабля. У него были сведения о том, что маленькая шхуна, чья погрузка должна была завершиться на следующий день, ещё через день отчалит; но даже если бы по причине каких-либо обстоятельств отплытие пришлось бы перенести, мастер был уверен, что тонкие перепонки, прикрывающие отверстия, выдержали бы мягкое трение волны, пока судно оставалось бы пришвартованным в гавани, но как только оно вышло бы в открытое море, сила трения возросла бы — и тогда, через считанные часы, перепонки проломились бы и вода начала бы вливаться в трюм.

Он вернул на свои места отодвинутые бурдюки с вином, весьма ловко сложив их один на другой, дабы прикрывали как следует отверстия в нижней части бортов, не забыл подмести и

убрать с глаз долой опилки и мелкие щепки, собрал свои свёрла, погасил коптилку и, вновь ступая тихонько-тихонько, босиком, возвратился на свою маленькую фелюку, привязанную к лацпорту голета, и отправился спать... Кто знает, перекрестился ли он на сон грядущий.

Тем не менее, сестра его рассказывала, что к утру злодей раскаялся и его грызла совесть, но, с другой стороны, он боялся, как бы его не арестовали, и посему решил подождать следующей ночи. Глубоко за полночь он намеревался вновь проникнуть на корабль, чтобы не дать подлому деянию осуществиться. Заделывать отверстия он умел столь же хорошо, как и сверлить: это он сделал бы с помощью какой-то плотной замазки из смолы и древесины. Но увы! Погрузка шхуны завершилась после полудня, и по причине того, что подул попутный ветер, первый сиверко, что начал дуть в ноябре, Кавулис, не желая упускать хорошую погоду, решил поднять паруса — поспешно, до полунощной службы, под веяньем горного бриза. Тогда Никос счёл происходящее знаменем и сказал себе, что вовсе не он, а справедливый Господь вынес приговор голету и судовладельцу: кабы хотел Господь, так помиловал бы!

Спустя три дня пришла весть о том, что голет погиб. Все местные моряки подивились “растяпству” Кавулиса; впрочем, он был виноделом и землевладельцем, а не мореходом. Ведь никакой большой бури не было, и он мог разве что налететь, как слепой, на какую-нибудь мель...

Неведомое таинство свершилось в ту ночь меж морскими хлябями и небесами. Никто не знал, что произошло. Жестокая месть сверловщика осуществилась.

И вновь обильные возлияния, — на сей раз не на дворе, не на улице, но посреди моря. Вакх расщедрился и принёс в дар Посейдону тысячу бурдюков вина. До зари опьянели все Тритоны, и русалки-горгоны, со слегка закружившимися головами, мирно плескались в волнах, и Сирены пели богам весёлую застольную песню, одновременно бывшую плачем и горькой иронией над смертными людьми и их долею...

Такое происхождение имел единственный сын-сиротинушка, спор о чьём браке дал доктору Вильгельму Вильду повод произнести своё бесхитрое изречение:

— Челюфек грызёт другой челюфек!

Хирург наложил повязку на кровоточащую рану, а помолвку Стамоса отложили, поскольку нельзя было допустить, чтобы на ней повстречались две его тётки, — одна с наполовину отгрызенною и зашитою бровью, а другая с не в меру острыми зубами. В конце концов, через несколько недель первая осталась с глубоким рубцом в нижней части лба, а вторая, уж не знаю, подточив зубы или нет, но притворно попросила прощения, и шаткая, как у кошки с собакой, дружба восстановилась. Юноша убедил несговорчивую тётку в порядке милости дать своё согласие на брак, устроенный другою тёткою. Брак состоялся.

Спустя двадцать лет мы видим Стамоса овдовевшим по смерти первой супруги, вступившим во второй брак. От обеих жён у него было много детей, и, как водится, по преимуществу девочек. Дела его обстояли нехорошо: все кабатчики и лавочники в округе были жуткими ростовщиками. Господь, создавший пауков, чтобы ловили мух, попустил и существование ростовщиков, чтобы наказывать пьяниц и лентяев.

Стамос заложил своё имущество, коим некогда похвалялся, продал часть землевладений. Состарился, ещё не достигнув сорока пяти лет, и облысел. Сидя дома, он курил нарگیле, пил ром, пил премного вина и во всех переговорах, которые приходилось ему вести, — о закладе или о продаже полей, — но подчас и в простых беседах с товарищами не уставал повторять свою присказку:

— Моё горе, братцы... не ваша беда.

ЛИВЕНЬ

Почти трое суток напролёт лил дождь. Дождливыми были и октябрь, и ноябрь, и часть декабря. В январе освятились воды, “просветилася влага”, но ещё несколько месяцев стояла всё та же погода, сырая и переменчивая. Лишь пару дней дул северный ветер, и в горах выпало немного снега. В конце апреля ещё лило, лило. [Канавы], что проходит через наш убогий квартал, г[рязный] поток, тесная сельская клоака, куда стекаются все отходы маслоделен, все помои жилищ, все нечистоты (сточных ям), уж десять раз переполнилась. Вода хлынула через край, разлилась вокруг нас озером, угрожая основаниям наших домов. Наш подклет, как и все подклеты, затопило водою, и пришлось заплатить три драхмы Бугаю, рыночному грузчику, — он околачивался всё время около лавки Синяка, находившейся против нашего дома, — чтобы он нам её вычерпал. Напрасный труд, напрасная трата. Вечеру он вычерпал почти всю воду, а к утру подклет был опять на три пяди затоплен. Дрова плавали, две стоявшие там бочки купались в воде, и корчага с маслом, хоть и была привязана как следует к стене и запечатана крышкою, начала клониться набок. Боже, это был страх и ужас.

Целую ночь я не мог заснуть. Едва мои глаза смыкались, я просыпался в ужасе от молнии или от грома, или от мощного усиления ветра и дождя. Были даже землетрясения. Господи, страшен Твой гнев! Представьте только, если бы люди перепугались, если бы перетрусили от колебаний земли, где смогли бы они спрятаться, на каких просторах моря и бездны, боящиеся, что их дома обрушатся и задавят их? О, грешные! Куда нам бежать?

Я читал про себя два канона, Великий и Малый. Когда я доходил до слов “Немы устне нечестивых”, дождь, как я заметил, несколько ослабевал, и в том было некое облегчение, хотя вскоре он вновь начинал крепчать.

* * *

Во время одного такого перерыва между чтениями канонов бессонницы, на границе дремоты, когда летучая грёза подкрадывалась, чтобы увлечь меня и предать объятиям сна, я вдруг услышал сквозь дождь и ливень пение за окном. Дстойная восхищения смелость! Посреди такого потопа человеку хватило отваги выйти на улицу и петь. В этом был своего рода героизм. Я невольно рассмеялся, осмелел и сказал:

— Нет, не потопит нас Господь, раз Мотовило не боится в такую погоду распевать на улице песни.

* * *

Человек этот был корабельщиком по ремеслу и происходил из семейства, три поколения коего состояли из корабельных мастеров и конопатчиков. Половину головы он потерял в одном селе на севере Эвбеи, где годы назад работал на верфи, на берегу. Там, в один воскресный день, он перепил и, притулившись за полночь на маленьком топчане на верфи, куда его сумел перетащить один менее пьяный товарищ, разжёл огонь в очаге, — пора была зимняя. Мотовило, не будучи в состоянии ни раздеться, ни постелить, ни лечь, уснул как был, сидя подле края очага и привалившись к стене. Спустя Бог весть сколько времени, когда его товарищ уже спал глубоким первым сном, он сполз влево, к огню, упал в очаг и испустил крик, полный дикого ужаса. Но, похоже, у него не было сил отпрянуть от огня. К счастью, его товарищ — от крика ли, от гари ли и вони палёных волос и плоти, от божественного ли знака, что вероятнее всего, — проснулся достаточно своевременно, чтобы оттащить его от огня с головою, обожжённою лишь наполовину. Он опрокинул ему на голову кувшин воды, стоявший там, дабы ночью два соартельщика могли пить и гасить жидкий огонь, который влили в себя на воскресном празднестве, и потушил пламя у него на волосах и на рубахе. Мотовило долго лечился, Бог знает где. Некоторые поговаривали, что он умер. Наконец, спустя несколько месяцев все в изумлении увидели, что он, с перевязанной головою, с

рубцом и сплошным шрамом вместо одного глаза и половины шеи, возвратился на остров. Даже видевшие его воочию не могли поверить своим глазам. Имея местное происхождение и множество родственников, он был хорошо всем известен, и подобные разговоры звучали на улицах и в местах собраний:

— Ты видел Мотовило?

— Нет.

— А я его сегодня видел.

— Это что же — он не помер?

— Приветы тебе шлёт.

— Упырём стал, что ли?

— Нет же; без половины головы вернулся.

— Как это?

— Увидишь.

— Увижу — и то не поверю.

* * *

Был он пятидесятилетним, почти совсем одиноким на миру. Три его сестры были замужем, а единственный брат, младший, умер, оставив двух сирот. Мотовило не пошёл в нахлебники к своим зятьям, но и те его не звали — они были, по выражению Мотовила, сволочи; не пошёл он и к невестке, потому как “сволочью” была и она. Он снимал комнатёнку-дыру у берега, в доме Асимины, Политисовой дочери, и там обыкновенно пел каждую ночь напролёт, нимало не беспокоясь о том, тревожит ли его пение соседей. Порою он выходил петь в городок. Он подымался в Верхний квартал, где веяло некою

чувственностью, останавливался на каждом углу и распевал страстные песни. Люди выглядывали из окон и бранили его.

— И долго ты ещё реветь по ночам будешь? Глаз из-за тебя не сомкнуть.

— Я ваш покой нарушать вовсе в виду не имею, — вежливо отвечал Мотовило.

— Проваливай! А коли посмеешь опять объявиться, я тебя водой окачу, так и знай!

— Чего ещё ждать от таких сволочей! — выпустив напоследок свою парфянскую стрелу, ночной певец удалялся.

Некогда он водил товарищество с Николасом Агиотисом и порою — с Цулисом Пацулисом. В конце общения они с Николасом рассорились в пух и прах, и в качестве последнего прощанья Мотовило кричал ему:

— Помолчи, сволочь!

С Цулисом Пацулисом они однажды схватились за ножи. Цулис дал ему два тумака, а Мотовило легонько поранил тому бок своим ножиком.

Порою, когда ему случалось оказаться в кабаке за одним столом с двумя-тремя знакомцами, он вставал посреди попойки, подходил к соседнему столу, наклонялся к уху одного из сидевших там и говорил:

— Погляди, с какими сволочами я нынче связался!

И вновь возвращался к своей компании.

* * *

Часто ему давали работу на маленькой верфи. По воскресеньям он пил с утра до вечера и курил в кофейне наргиле. По понедельникам “болел” и даже не заглядывал в

кабак. Во вторник он начинал приходить в чувство; наконец, в среду возвращался на верфь.

В ту ночь проливного дождя было бы излишним, если бы кто-нибудь, выглянув из окна, пригрозил Мотовилу окатить его водою. Его щедро окатывал сам Господь. По-видимому, певцу наскучило однообразие унылой комнатёнки, и он вышел восславить дождь. Я хорошо слышал слова его песни. Он напевал известный старинный мотив:

*Ступайте, мои глазоньки,
Взгляните на любимую.
Ушла она, сказали мне,
Нашла другого милого.*

Звук ненадолго прервался. Мне стало грустно. Песня показалась мне утешением среди тоскливой монотонности ливня. Затем, минуты через три, — похоже, он двигался в нашу сторону, — я услышал отчётливее:

*Коль так сказал тебе восход,
Пусть солнце больше не взойдёт,
Коль так сказал во храме люд,
Пусть свеч там больше не зажгут,
А коль сама царица —
Пусть нищей обратится.*

Голос гнусавый и хриплый, но всё же душевный и полный чувства, сопровождаемый великолепным оркестром дождя, ветра, молний и грома: потрясающим концертом стихий.

Наконец, через некоторое время звук отдалился. Певец свернул на дорогу, ведущую в гору, и двинулся утешать квартал, перепуганный и растревоженный наводнением.

* * *

Однажды летнею ночью я несколько припозднился с возвращеньем домой. Я засиделся на южной набережной, у

крохотного порта, и луна в тот час начинала поблескивать над горою, как лоснящийся гладкий серп. Было уж полночь. Когда я свернул на восточную набережную, чтобы отправиться спать, то увидел, что впереди, на высокой ограде тесного переднего дворика, у подножья каменистого холма, на котором выстроен квартал Котронья, горела маленькая лампа-коптилка, и слышался голос, печально тянувший песню. То был Мотовило: у двери своего подклета он изливал свою тоску звёздам, волнам и восходящей луне, напевая:

*Ты зажги-ка свой фонарик и спустись на бережок.
Отвяжи нас от причала и забудь меня, дружок.*

В песне и действительно было нечто поэтическое. Она пробуждала в моряке с маленького острова давние воспоминания о цветущей юности и звучала как мольба отплывающих, посылаемая с корабля возлюбленной деве.

Один из соседей, Вангелис, сын Морфулиса, вышел на балкон и крикнул певцу:

— Уймись, Яннис! Дай нам поспать.

Мотовило ответил:

— Заткнись уже, сволочь!

И продолжил свою песню.

ВЕДЬМЫ

Когда рано поутру мы спускались по склону к старому селу — кто пешком, кто верхом на ослике, мужчины — перебросив верхнее платье через плечо, женщины — босиком, неся свои башмачки в корзинках, что висели у них на левом локте, а дети — бегом, с гомоном, разыскивая птичьи гнёзда, гоняясь по кустам за бабочками, мчась впереди или же мешкая и отставая, — папа-Якумис, возглавлявший нашу процессию, всегда останавливался в некоем местечке над невысоким обрывом, у некой расселины, подле купы каких-то деревьев, и произносил, указывая на небольшую складку земли:

— Вот, вот здесь, в этой яме, нашли Муравьиху мёртвую, и у неё весь рот был в пене.

Тогда Герако, Сусаннина дочь, одна из следовавших в нашем шествии женщин, добавляла:

— Да... Сколько уж лет прошло, батюшка?

Поп называл какое-нибудь число:

— Уж годков двадцать восемь.

Следом вмешивалась Маламо, дочь Папаконстандиса, другая наша спутница:

— И ведь она сама отравилась, бедная! Дозволяется говорить “Господи, прости её”, а, батюшка?

Священник отвечал жестом замешательства и сомнения, словно хотел сказать “да, но не совсем”.

И, наконец, Кирацула Дьоматараци, ещё одна женщина, участвовавшая в нашем походе, заключала:

— А всё потому, что её ночью за колдовством поймали. Говорят, дед Парфенис её за этим делом увидал.

И после этого мы продолжали свой путь.

Несчастливая отравившаяся, тем не менее, хоть в память её и не готовили кутью, хоть и не служили панихид за упокой её души, решила — невольно, разумеется, — упасть и умереть в таком месте, чтобы папа-Якумис весьма часто, отправляясь в подобные походы, дабы отслужить литургию, — внизу, в конце этого спуска, где находилось старое, ныне необитаемое, селение, сохранялось много старинных часовен, — пусть и произвольно, пусть и частным образом, но поминал её: спозаранку, когда ещё “не время” начинать проскомидию. И выходило так, что три его прихожанки, Сусаннина Герако, Папаконстадисова Маламо и Кирацула Дьоматараци, прислуживали на сей панихиде: одна — задавая вопросы о прошествии лет, словно хотела пересчитать “годовщины”, “перехоронки” и прочие обряды, коими её не почтили, другая — добавляя, что она сама отравилась, а третья — сообщая, что её поймали на колдовстве. Это выглядело так, как если бы они хотели “отмолить” её, и как если бы готовили поминальные пироги и кутью в её память.

* * *

С того случая прошло много лет, и деда Парфениса уж не было в живых. Но я слышал, как Николакис, сын Дьянеллоса, недавно ставший иноком Нифоном, крестник покойного, пересказывал сию историю, услышанную им от самого деда Парфениса.

Была луна, время полночь. У деда Парфениса был домик на окраине городка, а неподалёку от домика находилась некая развалина или лачуга, и поодаль колодец, да пара прутняков, да куст руты, да ещё два каких-то дерева. Старик рано лёг спать, как принято было в те времена ложиться, и насытился сном. Он

поднялся, надел какую-то одежонку, потому как на дворе было прохладно, месяц май, и вышел из своей хижины.

Ночь†-полночь†, полнолуние, глубокая ночь. Вся природа спала, осиянная луною, как nereida, что ложится наземь и отражается в роднике, в глубине оврага. Сладость, прохлада, благоуханье и звук таинственный доносились с гор, из роц, из садов окрест. Дед Парфенис стоял, смотрел и страстно желал почуять что-нибудь, чем-нибудь насладиться среди этой неги. Но чувствовать глубоко он уж не мог. Лишь любовался красотою.

Он постоял мгновение, затем сделал пару шагов по направлению к развалине, к той лачуге, что находилась слева, к северу от его хижины.

Две стены лачуги, одноэтажной и лишённой кровли, были ещё целыми, третья сохранилась наполовину, а четвёртая полностью обрушилась. Он миновал южную, неповреждённую, стену и направился к северной, рухнувшей до основанья.

Когда он проходил мимо внешней стороны восточной стены, сохранившейся наполовину, ему вдруг почудилось, будто он услышал тихий шелест, что-то вроде дыхания. Он остановился и осмотрелся.

Заглядывает он за ту стену, что в самой высокой своей части превосходила человеческий рост, а в средней части была вровень с губами и подбородком деда Парфениса, заглядывает и видит, что за стеною стоят три фигуры.

То были женщины: три нагие женщины, совершенно нагие. Подобные праматери Еве в те времена, когда не было ещё найдено применение фиговым листьям и не были сшиты одежды из шкур. В тени развалины, под покровом ночи, серебристым и дымчатым от сиянья луны.

Они стояли там: одна — склонившаяся к земле, почти коленопреклонённая, другая — полусогбенная, третья — ещё прямая. Они словно вершили там некое таинство.

То были не призраки. То были телесные существа. И наги они были не от того, что совлекли с себя плоть и кости, ставши прозрачными “эфирными жителями”, но от того, что совлекли с себя одежды. Что же им было надобно?

Что замышляли они, о чём умоляли бледную Гекату, свою мать, плывущую высоко в небесах, три сии безризные, безодёжные жрицы? Какие песнопения к ней возносили?

Они умоляли высокоплывущую, превышнюю серебряную Селену с её чёрными пятнами, с ликом братоубийцы Каина, чья глава была раздавлена огромным камнем, умоляли и слёзно просили её, что шествует горе и зрит долу, смилостивиться к ним, спуститься пониже, снизойти к их слабостям, услышать их песнопения, выполнить их желания.

Одна всего лишь хотела освободиться от чар, которые на неё наложили. На свадьбе, в час обмена колец, ей “наколдовали девок”. Она постоянно рожала детей женского полу. Пять дочерей уже родилось у неё, и старухи, сведущие в таких делах, говорили, что всего ей суждено было родить девять.

Другая желала навредить своей врагине, одной женщине, что замышляла против её дурное и грозилась погубить, посредством порчи, и её самоё, и её мужа, и их детей. Так она решила сама обучиться колдовскому искусству и, обороняя себя, отплатить тою же монетой. Колдовство колдовством одолевается.

Третья же, о!.. Третья не хотела говорить, чего она жаждала. Быть может, у неё был жених — или любовник, который мог бы стать и женихом, мог бы стать и супругом, но увы! Он не любил её больше; он заглядывался на других, ему вскружили голову другие женщины. И она пыталась под тёмным сияньем, с помощью благосклонной Гекаты, сотворить приворотные зелья, дабы вернуть себе его расположение. “Коли нет любви, вмиг тебя полюбит”. Пой, о нежная Сапфо, утешь своих товарок!

И они склонялись к земле, и плели свои замыслы, и шептали, и пели кроткими голосами свои воззвания и песнопения на тайном языке, коего ни один поэт не в силах истолковать и ни один музыкант не в силах преложить нотами.

Снизойди, снизойди к ним, благая Геката! Снизойди к ним нынче ночью, но что будет в Судный день?

* * *

Дед Парфенис, человек богобоязненный, читавший в церкви Евангелие и певший на клиросе, увидал их и обмер, потрясённый. Издал сдавленный вскрик.

Поначалу ему показалось, что то были призраки. Со второго взгляда он понял, что пред ним были ведьмы.

Он попытался сбросить чудовищное наваждение, стряхнуть наяву привидевшийся кошмар, пошевелить свинцовыми ногами, воротиться в свой домишко.

Но было уж поздно. Его короткий возглас явственно прозвучал среди тишины и мрака. Одна из ведьм, стоявшая к нему лицом, заметила его и подала знак остальным.

Все три начали совершать беспорядочные движенья. Быть может, они намеревались убежать, дабы скрыть свою сверкающую наготу от лунного света, что примешивал к её оттенку свою белоснежную бледность. Но дед Парфенис в то мгновение решил, что они собирались втроём наброситься на него и задушить.

Тогда, недолго думая, объятый ужасом, но обретший дар речи, он закричал:

— Я вас видел, я вас узнал, чертовки, ведьмы! Я вас узнал...
Завтра всё вашим мужьям доложу!

В действительности он лгал — вынужденно, от страха: ни одной из трёх женщин он не опознал; его крик сопровождался ужасными судорогами губ и челюстей.

Ведьмы растерялись. Меж тем дед Парфенис смог совладать со своими ногами и, прыгая, оступаясь, издавая коленями такой хруст, как если бы они одеревенели, добежал до дверей своей хижины, заскочил внутрь, почти охромевший, и с громким лязгом запер дверь на засов.

* * *

Весь следующий день Муравьиха, молодая супруга и детная мать, не появлялась у себя дома. Домашние разыскивали её повсюду, но не находили. На другой день её труп обнаружился на том самом спуске, ведущем в Старое село, в маленькой расселине, под деревьями.

По-видимому, она приняла яд ещё в городке и двинулась по тропинке к Старому селу, куда её влекли детские воспоминания, а быть может, и страх повстречать людей. Ей мнилось, будто все указывали на неё пальцем. По дороге яд подействовал и бросил её в расселину мёртвою.

После обнаружения тела женщины по городку поползли неопределённые слухи о том, что три ведьмы были застигнуты за колдовским обрядом, в котором они взывали к лунному свету, посреди ночи.

Увидал их, как рассказывали, дед Парфенис. Кем же они были?

Кто-то говорил, что одною из ведьм была Муравьиха, другою Гускена, а третьею — Асими́на Маввату. Другие утверждали, что первую была Муравьиха, второю Маврудица, а третьею — Горюниха. Наконец, существовало и такое мнение, что первую была, опять-таки, Муравьиха, второю — Льольота, а третьею — Жеребчиха.

Надо думать, перепугавшийся дед Парфенис немедленно, в ту же ночь, поведал жене о своём виденье. Но как бы то ни было, кем бы ни были две другие ведьмы, ещё несколько дней они, должно быть, дрожали от страха; затем, увидав, что мужья не торопятся перерезать им глотки и не гонятся за ними с топором, они успокоились.

Однако же, неизвестно, о чём они размышляли наедине с собою. Лишь одно незримое ухо услышало, как они переговаривались друг с другом:

— Ну и правильно она сделала, что отравилась: такая трусиха, она и нас бы предала.

— И к тому же, — добавила другая, — теперь-то, когда она погибла зазя, дед Парфенис, ежели он нас и узнал, побоится нас выдать.

— Верно, — сказала первая, — только не верится мне, что он нас узнал!



АЛЕКСАНДРОС ПАПАДИАМАНТИС:

ЧЕЛОВЕК-ОСТРОВ-КОСМОС

Давно и заслуженно признанный величайшим греческим прозаиком рубежа XIX-XX вв., Александрос Пападиамантис, сын священника с островка Скиатос (правильнее будет передать современное произношение его названия как “Скьяфос”, но я буду придерживаться устоявшейся традиции), посвятил все важнейшие произведения своей малой родине. Эта родина — клочок каменистой земли площадью в сорок семь квадратных километров, расположенный в Эгейском море близ восточного побережья материковой Греции. Сегодня его население не превышает семь тысяч человек, но благодаря множеству природных достопримечательностей и христианских святынь (и, не в последнюю очередь, благодаря Пападиамантису) он стал одним из самых популярных направлений во внутреннем туризме. В середине же XIX в. остров считался захолустьем, и жизнь его обитателей — не изолированная, но отдалённая от бурлящей истории материковой Греции, не отстающая от своего времени, но отодвинутая на его периферию, — едва ли могла отличаться обилием событий или культурными достижениями. Разумеется, ни Революция 1821 г., ни создание независимого греческого государства не прошли мимо островитян стороной. Влияли на их жизнь и процессы, происходившие в международной политике. Но их уклад и быт, фундамент их повседневности, оставались неизменными: архаичными, суровыми и довольно однообразными; человеческие судьбы определялись способами ведения хозяйства, традиционными занятиями и промыслами — торговым мореходством, рыбной ловлей, производством оливкового масла и вина. Патриархальное семейное устройство подразумевало и поощряло многодетность, но обеспечить своим детям достойное будущее родители зачастую не могли. Залогом относительного успеха, — по крайней мере, отсутствия

крайней нужды, — был удачный брак, но подыскать в деревенской общине подходящую партию для дочери или сына было не так-то просто; родители сбивались с ног, а многочисленные свахи и сваты, для которых устроение браков стало, как мы сказали бы сегодня, бизнесом, нисколько не заботились о реальном благополучии пар и стремились лишь побыстрее и с максимальной выгодой для себя уладить формальную сторону дела. В результате возникали семьи, где супругов не связывало ничего, кроме хозяйства; лишённые поддержки у домашнего очага, они начинали искать её на стороне: в кабаке, в кругу соседок-сплетниц, в религиозном фанатизме или в бытовой магии, вера в которую процветала наряду с другими предрассудками и суевериями. Медицина почти отсутствовала, из-за чего младенческая и детская смертность была гораздо выше, чем в городских центрах; функцию акушеров выполняли повивальные бабки или попросту старшие женщины в семье, и множество рожениц умирало от инфекций и кровотечений; высокая мужская смертность была, в свою очередь, связана с тяжёлым физическим трудом и работой в море. Эти сложные и довольно мрачные условия не способствовали ярким проявлениям человеческой индивидуальности, но не могли они и полностью подавить свойственное греческому национальному характеру жизнелюбие. Находилось место и молодёжному веселью, и страстной любви, — даже если она не всегда могла перерасти в супружество, — и общенародным праздникам, и, разумеется, творчеству, которое и сегодня даёт богатый материал этнографам и ценителям народного искусства.

Как мы знаем на примере России и других стран, косная и неподатливая к внешним влияниям глубинка вполне может послужить материалом для создания выдающейся литературы, — но это никогда не происходит спонтанно, как в крупных городах. Город, сам по себе являющийся памятником мировой культуры, предоставляет своему творческому сообществу огромный диапазон самых разнообразных отправных точек для осмысления и рефлексии, будь то социальных, политических, эстетических или религиозно-нравственных. Тесному и закостенелому, по меркам горожанина,

периферийному миру необходим энтузиаст, самородок, способный взглянуть на окружающее пространство свежо и непредвзято. В России такими мастерами-самородками были, например, Н. С. Лесков, Д. Н. Мамин-Сибиряк, В. Я. Шишков, Б. В. Шергин и многие другие. Подобно им, Пападиамантис сумел создать не только великолепные психологические портреты своих земляков, не только бытописательские зарисовки, но и монументальные, почти мифологические полотна, в которых любой человек, независимо от национальности, сможет обнаружить знакомые сюжеты и мотивы. Изображая соотечественников максимально реалистично, — не тяготея ни к принижению, ни к идеализации, не впадая ни в вульгарную социальную критику, ни в патриотический экстаз, — Пападиамантис очищает их характеры от стереотипов и обнаруживает в них архетипические черты, универсальную картину человеческого социума с его сознанием и подсознательным.

* * *

Жизнь Пападиамантиса, — тяжёлая, подчас несправедливая и практически всегда одинокая, — и сама напоминает судьбы его героев. Родился он 4 марта 1851 года в многодетной семье иерея Адамантиоса Эммануила-Московакиса (фамилия самого писателя, в свою очередь, происходит от крестильного имени его отца с приставкой “папа-”, то есть “поп”; подобное использование отчеств вместо фамилий было широко распространено в годы турецкого владычества, а в отдалённых местностях Греции просуществовало до сравнительно недавнего времени). Мать, Ангелики Мораити-Эммануил, происходила из знатного пелопоннесского рода; её предки переселились на остров в XVIII в., “во времена Екатерины и Орлова”, по выражению самого Пападиамантиса. Сохранилась семейная легенда о том, что в момент крещения будущего писателя елей, вылитый в купель, образовал на поверхности воды крестообразную фигуру, и священник, некий отец

Николай, невольно произнёс: “Это дитя вырастет великим человеком!”²¹

Ранние годы Александроса прошли относительно безбедно, а впечатления, полученные в этот период, в дальнейшем послужили ему неисчерпаемым источником вдохновения. Мальчик сопровождал отца в пеших походах к отдалённым церквям и часовенкам, присутствовал на богослужениях, наблюдал за работой ремесленников и иконописцев, участвовал в народных праздниках, забавлялся вместе со сверстниками, исследовал окрестности, и, как следует из его автобиографических рассказов, скромность и чувствительность уже тогда сочетались в его характере с упрямством и независимостью. На острове в то время действовал только первый класс начальной школы, который Александрос закончил, по разным источникам, между 1862 и 1865 гг.²² Видя успехи сына в учёбе и надеясь, что в будущем он сможет стать учителем греческого языка, его отец принял решение любой ценой, невзирая на бедственное положение семьи, обеспечить его дальнейшее образование. Начальную школу Александросу пришлось оканчивать на соседнем острове Скопелос, а получать гимназическое образование — в Халкиде и в Афинах, с большими перерывами, отчасти обусловленными нехваткой денег, а отчасти — юношескими метаниями, понемногу начинавшими обуревать его. Во время одного из таких перерывов, в июле 1872 года, Александрос в компании своего друга Никоса Дьянелоса (упомянутого в одном из вошедших в этот сборник рассказов) посетил Афон; Никос избрал монашеское поприще, а Александрос, несколько месяцев пожив в монастыре в качестве послушника, счёл свой характер неподходящим для монашества и решил вернуться в мир.

В 1874 году, двадцатитрёхлетним юношей, он наконец получил аттестат об окончании гимназии и поступил на философский факультет Афинского университета, “где слушал

²¹ Βαλέτας Γ. Ο Παπαδιαμάντης: η ζωή, το έργο, η εποχή του. Μυτιλήνη, 1940. Σ. 93

²² Ibid. Σ. 96

выборочно некоторые филологические лекции”²³, но бросил обучение и начал зарабатывать на жизнь журналистским ремеслом и переводами²⁴. Английский и французский языки Александрос выучил самостоятельно; популярные в те годы художественные произведения на этих языках предопределили характер его собственного раннего творчества. Первые опубликованные им романы²⁵ — “Эмигрантка” (1879), “Торговцы народами” (1882), “Цыганочка” (1884), — создавались с явной оглядкой на западноевропейскую историко-приключенческую прозу, хотя сюжеты и проблематика были почерпнуты из греческой действительности. Характерно, что

²³ А. П. [απαδιαμάντης]. Αυτοβιογραφικό σημείωμα.

²⁴ Наследие Пападиамантиса-переводчика заслуживает отдельного подробного рассмотрения; этот очерк разросся бы ещё на пять-шесть страниц, если бы я не поборол в себе соблазн перечислить переведённые им произведения, рассказать об их влиянии на греческое общество и методах, которые использовал Пападиамантис при работе. Ограничимся минимумом информации: библиографический список выполненных им переводов насчитывает около 250 пунктов (хотя авторство некоторых переводов не установлено достоверно и атрибутировано Пападиамантису по косвенным признакам). Переводить писатель продолжал до самой смерти: других источников дохода у него практически не было. По горькому сообщению Й. Валетаса, большая часть его усилий оказывалась напрасной: переводы безжалостно сокращались, авторский стиль уродовался недобросовестными корректорами, некоторые рукописи целиком попадали в мусорную корзину, потому что к моменту завершения работы над переводом редактор успевал “передумать”, а деньги, которые выплачивали Пападиамантису за этот рабский труд, были ничтожно малы. Но именно благодаря ему греческий читатель познакомился со значимыми произведениями Марка Твена, Фредерика Фаррара, Джерома К. Джерома, Уильяма Блейка и многих других, в основном франко- и англоязычных, писателей. Нельзя не упомянуть и перевод “Преступления и наказания” Ф. М. Достоевского (выполненный, разумеется, не с оригинального текста, а с французского перевода): он публиковался в приложении к “Ежедневной газете” с апреля по август 1889 года.

²⁵ Известно, что свой самый первый роман юный Пападиамантис начал писать в 1868 г., будучи гимназистом в Халкиде, но не сохранилось никакой информации о его сюжете и содержании.

академик Л. Политис в своей фундаментальной “Истории новогреческой литературы” не удостоил эти романы даже кратчайшего комментария²⁶. Но вскоре Пападиамантис начинает писать и рассказы, и уже в первом из них, — рассказе “Рождественский хлеб”, опубликованном в 1887 году, — обнаружился тёмный, почерпнутый из жизни простонародья, драматизм. В стилистическом отношении этот рассказ ещё очень далёк от совершенства; он больше напоминает криминальную сводку, чем литературное произведение, и морализаторские нотки не придают ему глубины, но в характерах и сюжете уже читаются зачатки всего, что в дальнейшем послужило основой зрелых сочинений писателя. Пожилая женщина-крестьянка, чьи заботы и переживания, вращающиеся вокруг продолжения рода, толкают её на преступление; вмешательство случая или рока, обращающее злую волю преступницы против неё же самой; единственное дитя, ставшее жертвой собственной матери — все эти элементы будут вновь и вновь возникать в пападиамантисовских произведениях, каждый раз получая новую интерпретацию и каждый раз приоткрывая перед читателем новую грань жестокой психологии сельской общины — и мрачной метафизики кровного родства.

Новелла “Христос Милионис” (1885) была последней и самой удачной попыткой Пападиамантиса написать историческое

²⁶ Великий греческий учёный был крайне строг и к зрелому творчеству Пападиамантиса: “Число его рассказов превосходит 200, но не все они обладают равной ценностью; многие из них — не более, чем беглые наброски, зарисовки; другие можно назвать скорее хронографическими записками, нежели рассказами (...) стоит исключить [из рассмотрения. — И. Х.] множество [рассказов. — И. Х.], едва достигающих среднего уровня или едва его превосходящих” (Πολίτης Λ. Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Αθήνα, 1985. Σσ. 202-204). С позиций литературной критики это мнение, бесспорно, верно, но с позиций литературы как искусства и духовно-нравственной практики даже формально “неудачные” рассказы не лишены ценности; язык их всегда отличается богатством, а содержание — глубиной. Что касается романов, их качество нельзя назвать выдающимся, но в наши дни они выглядят как минимум занимательно.

произведение. Действие её разворачивается в предреволюционный период, когда в материковой Греции набирало силу движение клефтов — вольных боевиков, промышлявших в труднодоступных местностях и сочетавших типичные качества разбойничьих банд с политизированными партизанскими настроениями. Главный герой новеллы — реальное, не вымышленное, лицо; информация об этом клефте, жившем в XVIII в., довольно скудна, но сохранилась народная песня-плач, сложенная по случаю его убийства турками: вокруг неё и выстраивает писатель сюжет своего романа. Клефтское движение представлено в нём с большой долей идеализации (в дальнейшем Пападиамантис будет высказываться об этом феномене более критично); бесчинства клефтов, нередко терроризировавших и грабивших собственных единоверцев-христиан, замалчиваются, а патриотизм и преданность православной вере выдвинуты на первый план и изрядно приукрашены. Впрочем, этот романтический идеализм не мешает писателю критиковать исход Освободительной войны, не принесшей простому народу ровным счётом никакого освобождения. После завершения “Христоса Милиониса” Пападиамантис оставляет историческую тематику и погружается в стихию, позволившую его таланту проявить себя в полной мере: в быт и нравы своей малой родины. Конец 1880-х и 1890-е годы он посвящает написанию рассказов, постепенно двигаясь от драматического лиризма к хлёсткой общественной критике, граничащей с сатирой, а от неё — к глубокому и порой безжалостному психологизму. В это же время Пападиамантис создаёт и ряд детских рассказов (но адресованы они скорее юношеству, чем детям школьного возраста).

Путь, избранный писателем, вполне мог бы привести его к славе и улучшить его финансовое положение: литература с национальным колоритом пользовалась особым спросом в молодом греческом государстве, а ничего, что могло бы навлечь на него гнев влиятельных лиц, в его произведениях не содержалось. Ни острой политической полемики, ни, тем более, каких-либо ядовитых личных выпадов (какие встречались, например, у Д. Соломоса), в его прозе нет. Но уже

в самом начале этого пути творческий характер Пападиамантиса обнаружил свою изнаночную сторону, сослужившую ему недобрую службу: он совершенно не умел распоряжаться деньгами и, тем более, “продавать себя”, как сказали бы наши современники. Сохранились свидетельства о том, как он просил снизить свой гонорар²⁷, не считая себя достойным высокой оплаты, и о том, как в один день пропивал с трудом заработанные деньги²⁸. Собранности не хватало Пападиамантису и в быту, и, как ни странно, даже в писательском труде: в его крупных произведениях можно встретить нестыковки дат, путаницу имён и другие технические огрехи, не принижающие общего мастерства, но свидетельствующие о рассеянности автора. Но, невзирая на все эти качества, упрекнуть Пападиамантиса в лени или безответственности невозможно: большую часть времени он посвящал именно своему ремеслу, — переводам и собственной литературе, — голодая, забывая об отдыхе, доводя себя до физического истощения, но не прекращая работать.

О том, какой была столичная жизнь писателя и как воспринимался со стороны его характер, красноречиво рассказывает небольшая зарисовка литератора Димитриса Хатзопулоса, которому в марте 1893 года довелось выпивать в компании Пападиамантиса в одном афинском заведении: “Г-н Пападиамантис, писатель с острова Скиатоса, своеобычный, эксцентричный, богемный, Менипп-философ, человек кабаков

²⁷ Об одном таком эпизоде рассказал писатель Павлос Нирванас, с которым Пападиамантис познакомился в редакции газеты “Город”: “Рассказав о работе, которой ему предстояло заниматься, господин Какламанос с некоторой осторожностью перешёл к теме жалованья: “Ваше жалованье будет сто пятьдесят драхм”. Пападиамантис замер, словно производил в уме какие-то подсчёты. “Быть может, этого мало?”, робко спросил Какламанос, готовый увеличить предложенную сумму. Тогда из уст Пападиамантиса я услышал самый невероятный ответ, который мог бы дать человек в подобную минуту: “Сто пятьдесят — это много”, сказал он. “Мне и ста хватит”. (Σταματίου Κ. Το βιβλίο και ο χρόνος. Τ. Β'. Αθήνα, 2004. Σ. 115).

²⁸ Βαλέτας Γ. Ibid. Σ. 200

и трущоб, удивительный тип, искренняя душа, то и дело бродящий по афинским улицам в своём истёртом и выцветшем пальто, в двойных изорванных штанах, с тростью подмышкой и рукою, вечно прижатой к груди, с буйными чёрными непричёсанными волосами, в широкополом грязном цилиндре, с густою неухоженной и неоформленной бородою, с физиономией ироничного винолюбца, с цветущим остроумием, являющимся в его безудержной болтовне, тратящий по десять часов в день на переводы с французского и с английского для “Акрополя” с его “Новым духом”²⁹, за один вечер пускающий по ветру всё содержимое своего кармана, живущий между стаканом вина и кружкой пива, с сигаретами под боком, — этот золотой человек в течение всего нашего божественного ужина услаждал нас от всего сердца, проявляя такую доброту и такую рассудительность, — этот человек, обычно столь грубый и столь резкий.”³⁰

Уже из одного этого описания становится ясно, что эпизодически встречающиеся в греческой публицистике попытки консервативных (и, в особенности, церковных) кругов представить Пападиамантиса нравственно безупречным и строгим “монахом в миру”³¹ как минимум несостоятельны, а как максимум — являются сознательным искажением,

29 Альманах “Новый дух” принадлежал издателю газеты “Акрополь” Власису Гавриилидису, покровителю и постоянному работодателю Пападиамантиса.

³⁰ Μποέμ. Σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς. Άλέξανδρος Παπαδιαμάντης // Τὸ Ἄστυ, 26-27.3. 1893.

³¹ “Пападиамантис монашествует в жизни, душа его ликует на церковных службах, он общается с благочестивыми людьми”, — пишет К. Пападимитриу (Παπαδημητρίου Κ. Φώτης Κόντογλου // Εκκλησιαστική Παρέμβαση. Φεβρ.–Απρ.–Μάιος 2010), но из биографии, составленной Й. Валетасом, никак не следует, что собутыльники писателя, жители афинских трущоб, отличались благочестием. Некоторые авторы из церковных кругов, напротив, упрекали Пападиамантиса в “нехватке силы воли” и слабости, которые “отвратили его от монашеского пути” и “обрекли на блуждание в греховном мире” (см., напр.: Θεόκλητος μοναχός. Ο κοσμοκαλόγηρος Παπαδιαμάντης. Αθήνα, 1986.)

благообразной клеветой, выхолащивающей и уплощающей живой человеческий характер. Существовало немало качеств, в действительности сближавших писателя с типажамы православных святых, но это были отнюдь не воздержанность вечного постника, не строгая щепетильность и даже не смирение или кротость, а искренность, бескорыстие, глубочайшая набожность и самоотречение, с которым он предавался труду. Обладал он и ещё одной особенностью, придававшей его характеру почти средневековые черты и до сих остающейся предметом горячих споров, спекуляций и домыслов. В то время как Пападиамантис-писатель был пылким лириком, упоённо восхваляющим юношескую страсть, тончайшим знатоком женской психологии, создателем запоминающихся и на удивление убедительных героинь — причём даже отрицательные героини, даже закоренелые преступницы наподобие старухи Франкоянну выводятся на страницах его книг с неподдельными пониманием и сочувствием, — Пападиамантис-человек сторонился женщин, никогда не был женат и даже не вступал в мимолётные отношения. Когда одно из его лирических стихотворений было встречено аплодисментами и пожеланиями “прославлять любовь”, Пападиамантис отвечал: “Это у моего героя любовь, а у меня нет.”³² Но самый потрясающий ответ он дал своему другу Мильтиадису Малакасису, однажды спросившему, приходилось ли ему вообще влюбляться. “Никогда!”, сказал Пападиамантис. “Что за христианин я буду с целыми двумя грехами? Достаточно и того, что я пью.”³³

В научной и околонучной литературе можно найти массу самых разных подходов к теме “Пападиамантис и Эрос”, способных удовлетворить как самый целомудренный, так и

³² Βαλέτας Γ. Ibid. Σ. 181.

³³ Βαλέτας Γ. Ibid. Σ. 177. Правда, вскоре после этой ироничной отповеди Пападимантис всё же признался другу, что в подростковом возрасте он был очарован своей двоюродной сестрой и подсматривал за ней через замочную скважину; в монографии Валетаса приводится и множество других эпизодов, ясно свидетельствующих о том, что писателю не было чуждо ничто человеческое.

самый извращённый вкус³⁴; не обошлось и без попыток психоанализа, но, на мой взгляд, подобные изыскания только уводят в гуцу иллюзорных проекций и умозрительных нагромождений; сама природа фрейдизма и смежных учений настолько противоречит натуре писателя и основам его культуры, что извлечь из этих построений нечто соразмерное его характеру едва ли возможно. Разумеется, существуют и взвешенные, тонкие интерпретации, созвучные настроением самого Пападиамантиса — например, размышления Й. Фемелиса³⁵ о природе любви в мировоззрении писателя. Суммируя и пересказывая своими словами его наблюдения, эта любовь заключается в созерцании божественного образа, видимого сквозь красоту телесного мира; человек, растение, животное, ландшафт, произведение искусства — всё может служить иконой, и любить значит предстоять этой иконе в молитвенном благоговении и богообщении. Стоит заметить, что одно из самых нежных и прочувствованных любовных стихотворений Пападиамантиса озаглавлено “Нерукотворный образ”; кому оно было посвящено — неизвестно. Говоря проще, всё указывает на то, что Пападиамантис и в самом деле практиковал своего рода аскезу, осознанно подавляя в себе физическую страсть и преобразая её энергию в мистическое созерцание, которое, в свою очередь, давало основу его творчеству. При желании эту же мысль можно сформулировать и цинично-прозаически: причиной одиночества была невротизация, вызванная чрезмерной религиозностью и идеализмом. Но подобные формулировки, внешние и

³⁴ В качестве самого экстремального примера достаточно привести Н. Эвзонаса, приписывающего писателю “педофилические фантазии” (Ευζώνας Ν. Η Φόνισσα ως ψυχοσωματική ομολογία του Αλέξανδρου Παπαδιαμαντή // Ελληνικά, Τ. 65, τ. 2. Θεσσαλονίκη, 2015. Σσ. 324-327 и Evzonas N. Alexandros Papadiamantis: A Passionate Saint // Modern Greek Studies: Australia & New Zealand 16–17/B. Sydney, 2013–2014. P. 380). Примером спокойного и объективного исследования служит недавняя работа Ангелы Кастринаки: Καστρινάκη Α. Έρως νάρκισσος, έρως θείος: όψεις του έρωτα στο έργο του Παπαδιαμάντη / Παπαδιαμάντης Α. Διηγήματα ερωτικά. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2017.

³⁵ Θέμελης Γ. Ο Παπαδιαμάντης και ο κόσμος του. Αθήνα, 1991

профанские по отношению к любой духовной практике, не приближают к пониманию феномена. Если горячая чувственность рассказа “Мечта в волнах”, пронзительная нежность “Любви на обрыве”, чёрная горечь неразделённой страсти в “Узорешительнице” и другие проявления всех оттенков эротической любви, возникающие в зрелом творчестве Пападиамантиса, и впрямь являются плодом невротической сублимации, это объясняет только их происхождение, но не их неподражаемое качество.

В первые годы нового века Пападиамантис возвращается к крупным формам. В 1903 г. в журнале “Панафиней” выходит в свет “Убийца” — произведение, подытожившее все основные творческие наработки писателя и придавшее им стилистическое и сюжетное совершенство. Тема порабощения женщины патриархальной средой, тема безумия, которое можно трактовать двояко, как одержимость нечистым духом и как последствия нервного истощения, тема инфантицида и другие лейтмотивы пападиамантисовского творчества соединяются в “Убийце” в цельное монументальное полотно, выстроенное столь мастерски, что характерные мелкие неувязки выглядят в нём элементами авторского замысла, обилие второстепенных героев нисколько не отвлекает от основной сюжетной линии, и всё немаленькое сочинение, состоящее из восемнадцати глав, читается на одном дыхании.

Последним большим произведением Пападиамантиса, его лебединой песней, была новелла “Розовые берега”, главы которой с ноября 1907 по июнь 1908 гг. публиковались на страницах александрийского журнала “Новая жизнь”. Она выстроена по образцу античной и новейшей симпозиальной прозы: собравшиеся на застолье герои рассказывают друг другу истории, из которых сплетается ткань повествования. Мягкий народный юмор, суеверия, байки, общественная проблематика, личные терзания персонажей и самого автора, в чьей речи порой сквозит пронзительная исповедальность, складываются в калейдоскопическую, яркую и многомерную панораму, а манера письма Пападиамантиса, уже достигшая к тому времени стилистического совершенства, обретает особую плотность и изящную простоту. В отличие от “Убийцы”, где

количество диалогов не столь велико, “Розовые берега” насыщены прямой речью. Она бесхитростна, лишена каких-либо мудрствований или рассуждений на отвлечённые темы, но выразительна, психологически глубока и достоверно передаёт особенности различных пластов народного языка. Великий греческий поэт Константинос Кавафис, очень тепло принявший эту книгу, отмечал и силу Пападиамантиса-художника, столь живо изобразившего кофейню старого Гадзиноса, “а затем и дома обывателей, один за другим просыпающиеся на рассвете”³⁶.

За несколько недель до того дня, когда в апрельском номере “Новой жизни” был опубликован доброжелательный отзыв Кавафиса, писатель уехал из Афин. Его здоровье, подорванное алкоголем и лишениями, окончательно пошатнулось, а материальное положение ухудшилось настолько, что его немногочисленные товарищи из столичных литературных кругов вынуждены были объявить сбор средств, чтобы выволить его из долгового капкана и хотя бы отчасти облегчить его нищету. Благодаря их помощи Пападиамантис смог расплатиться со своими кредиторами; предлагали ему и госпитализацию, но лечиться в больницу он отказался наотрез и предпочёл вернуться на остров. Там, в окружении людей, послуживших прототипами его героев, и мест, на фоне которых разворачивались события его лучших сочинений, он провёл последние два с половиной года своей жизни. Умер Александрос Пападиамантис 3 января 1911 года, сразу после рождественских праздников, которые он так любил, — умер холостым и бездетным, спившимся, в пятьдесят девять лет напоминавшим глубокого старика, недооценённым и одиноким, — юродивым и подвижником, страница за страницей создавшим бессмертную летопись своей малой родины.

³⁶ Καβάφης Κ. Π. Ἀπαντα τὰ πεζά. Τ. Α'. Αθήνα, 1963. Σ. 105-106.

Трудно сказать, что было тому виной, — характер самого писателя, подспудная зависть современников, смешанная с высокомерием по отношению к невесте откуда взявшемуся “самородку”, неблагоприятное стечение обстоятельств или, что наиболее вероятно, сочетание всех этих факторов, — но подлинное признание Пападиамантис получил только после смерти. Дионисиос Соломос, великий поэт и если не создатель, то основоположник греческого литературного языка, увидел изданной лишь одну свою книгу (впрочем, это были юношеские стихотворения, не отражавшие и десятой доли его мастерства); Пападиамантису жизнь не подарила даже такой скромной радости. Все его сочинения публиковались только в периодических изданиях; крупные критики не удостоивали их внимания, а литераторы, занятые не столько литературой, сколько, как это обычно бывает, общественно-политической повесткой, не понимали, к какому направлению может быть отнесён и к какой идеологической группировке причислен этот странный автор, парадоксально и так органично сочетающий натурализм с мистицизмом, романтические настроения с сатирическими, а простонародную грубоватую наивность — с отнюдь не простонародной, прихотливой и пластичной изысканностью письма. Даже сами языковые пристрастия Пападиамантиса оказались меж двух огней. Официальным изводом греческого языка той эпохи была так называемая кафаревуса — язык отчасти сконструированный искусственно, отчасти восходящий к речи поствизантийских учёных и клириков. Сложная для понимания и заимствовавшая множество грамматических и орфографических правил из древнегреческого языка, она несколько не отражала норм разговорной речи, но обладала массой поборников, в основном из числа духовенства и консервативной буржуазии. Этому лагерю противостояла более демократичная и прогрессивная часть общественности, требовавшая признания в качестве официального языка димотики — народной, стихийно сложившейся речи с её модернизированными нормами, упрощённой грамматикой, диалектизмами, заимствованиями из турецкого и из славянских языков. Пападимантис писал на

кафаревусе, и формально его можно было бы причислить к первому лагерю, но на поверку его письмо оказывалось слишком приближенным к народной речи и включало слишком много просторечных выражений, чтобы понравиться консерваторам. Не могло оно понравиться и димотикистам, поскольку в грамматическом отношении писатель следовал официальным нормам. Не примыкавший ни к какому литературному кругу, не пытавшийся извлечь выгоду из знакомств, не поддававшийся веяниям моды, Пападиамантис не вызвал у общественности даже дебатов — он оставался невидимкой вплоть до своей кончины. Единственным писателем, посвятившим ему прижизненную критическую статью (но и единственным поистине выдающимся мастером среди всех, с кем приходилось общаться Пападиамантису в Афинах), был Костис Паламас, безоговорочно признавший его талант, да инициатива редакции журнала “Новая жизнь” в 1908 г. привлекла некоторое внимание к его фигуре и творчеству.

Общественные дебаты начались после серии публикаций, посвящённых смерти писателя. К. Паламас почтил его память статьёй, где с пронзительностью, затмевающей множество филологических исследований, сформулировал главное и непревзойдённое достоинство пападиамантисовской прозы, “одновременно церковной и мирской, византийской и всечеловеческой, чуть дидактической и взволнованной, с двойным языком и двойной душой”³⁷. Журналист и писатель Харилаос Папантониу называл Пападиамантиса “Соломосом новогреческой прозы”³⁸, а Герасимос Вокос, бывший главный редактор журнала “Художник”, хотя и отозвался со сдержанным неприятием об эмоциональном настрое “объятого страхом христианина”, с восхищением отмечал выразительную силу, с которой Пападиамантис рисовал “повседневные человеческие образы”³⁹. Именитый критик Г. Ксенопулос, не обращавший внимания на Пападиамантиса,

³⁷ Παλαμάς Κ. Ο Παπαδιαμάντης // Ακρόπολις, 4 Ιανουαρίου 1911.

³⁸ Τιμή εις τα ελληνικά γράμματα // Καλλιτέχνης Α', 1911. Σ. 357

³⁹ Βώκος Γ. Η ζωή // Καλλιτέχνης, Φεβρουάριος 1912. Σ. 418

пока тот был жив, опубликовал статью⁴⁰, где анализировал не столько его прозу, сколько волну откликов, поднятую его смертью; многие части этой статьи выглядели спорными уже тогда, а кое-какие обнаруживали элементарное непонимание материала⁴¹, но общий посыл можно охарактеризовать как снисходительно-благожелательный. Разумеется, появилось и немало отрицательных отзывов: так, некий автор за подписью “Гелис”, разразившись статьёй в литературном журнале “Нумас”⁴², сравнивал Пападиамантиса с плохим художником, “который, едва его голова родит какую-нибудь идею, а рука прорисует набросок, хватается малярные кисти и его размалёвывает”.

Сегодня, глядя на эти споры с более чем столетнего расстояния, можно вполне уверенно сказать, что единственной их пользой было выведение Пападиамантиса из тени, в которой он провёл свою жизнь, на яркий свет общественного внимания. И хвалебные, и презрительные отклики, и, в особенности, риторика литературных критиков, прячущих предвзятость под маской объективности, были лишены как научного базиса, так и широты кругозора; единственным, кто уже тогда смог увидеть феномен Пападиамантиса в масштабной панораме новейшей греческой литературы и верно определить его

⁴⁰ Ξενοπούλος Γ. Οι πρώτοι και οι μόνοι // Ανεξάρτητος Αθηνών, 16.1.1911.

⁴¹ Так, Ксенопулос называет речь Пападиамантиса “неровной и лишённой хорошего вкуса”, сопоставляя её со “стилистами кафаревусы и димотики”, но ему и в голову не приходит соотнести его приёмы с устной традицией; там же он упрекает писателя в отсутствии деталей и создании “картин, которые производят впечатление лишь издалека”, но, как мы увидим далее, этот тезис совершенно несправедлив. Не понимает он и сказочно-архетипической природы персонажей Пападиамантиса, которые представляются ему “похожими друг на друга”. Возводя творческий метод Пападиамантиса к французскому натурализму и, в особенности, к произведениям Эмиля Золя, Ксенопулос пытается критиковать Пападиамантиса как натуралиста, не замечая собственных находок греческого писателя или даже принимая их за ошибки.

⁴² Γέλης. Για τους κριτικούς του Παπαδιαμάντη // Νουμάς, τχ. Θ'. Αθήνα, 1911. Σσ. 73-74.

иерархический статус, был Паламас. Время для серьёзных научных изысканий пришло в 1930-х — 1940-х гг., когда Й. Кацимбалис издал книги “Александрос Пападиамантис”⁴³ и “Дополнения к библиографии Пападиамантиса”⁴⁴, Й. Фусарас — “Библиографические заметки о Пападиамантисе”⁴⁵, Й. Валетас систематизировал и снабдил подробнейшим комментарием доступные на тот момент биографические, документальные и критические материалы⁴⁶, М. Папаиоанну приступил к изучению религиозных воззрений писателя⁴⁷. Что же до философского осмысления пападиамантисовской прозы, то оно начало полномасштабно осуществляться ещё позже, уже во второй половине XX в., когда хронологическая дистанция позволила взглянуть на неё непредвзято. В число мыслителей, посвятивших Пападиамантису отдельные сочинения, входили выдающийся литературовед Зисимос Лорендзатос⁴⁸, драматург и публицист Костис Бастьяс⁴⁹, Нобелевский лауреат Одиссеас Элитис⁵⁰. Примерно тогда же, между 1950-ми и 1970-ми годами, произошла окончательная интеграция языка и мировоззрения Пападиамантиса в национальную культуру Греции.

⁴³ Κατσιμπάλης Γ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Πρώτες κρίσεις και πληροφορίες. Αθήνα, 1934.

⁴⁴ Κατσιμπάλης Γ. Συμπλήρωμα βιβλιογραφίας Α. Παπαδιαμάντη. Αθήνα, 1938

⁴⁵ Φουσαράς Γ. Βιβλιογραφικά στον Παπαδιαμάντη. Αθήνα, 1940

⁴⁶ Βαλέτας Γ. Ο Παπαδιαμάντης: η ζωή, το έργο, η εποχή του. Μυτιλήνη, 1940

⁴⁷ Παπαϊωάννου Μ. Η θρησκευτικότητα του Παπαδιαμάντη: μελέτη. Αθήνα, 1948

⁴⁸ Эссе, впервые опубликованное в 1961 г., было переиздано в: Λορεντζάτος Ζ. Μελέτες. Αθήνα, 2007. Σσ. 237-258.

⁴⁹ Μπαστιάς Κ. Ο Παπαδιαμάντης. Αθήνα, 1962

⁵⁰ Ελύτης Ο. Η μαγεία του Παπαδιαμάντη. Αθήνα, 1977

“А я тебе говорю, что я не похож ни на По, ни на Диккенса, ни на Шекспира, ни на Беранже. Я похож на самого себя. Этого мало?”⁵¹ Эта отповедь, адресованная Пападиамантисом некому господину З., обнаруживает справедливую нетерпимость к весьма докучному и разрушительному явлению, очень часто встречающемуся в окололитературных кругах. Не умея или не имея желания взглянуть в авторский стиль своего современника, рассмотреть в нём независимую личность и самоценный культурный феномен, критики и читатели прибегают к поверхностному анализу посредством проведения аналогий, часто крайне неуместных или даже откровенно глупых. Неудивительно, что Пападиамантис был разгневан сравнением с Диккенсом и Шекспиром: ничем, кроме лености и неумения читать, объяснить такую “аналогию” невозможно. Но когда наследие автора интегрируется в мировую культуру, возникает потребность в аналогиях другого характера. Ярлыки, навешенные нерадивыми читателями, уходят в прошлое, и появляются вопросы: каким процессам и явлениям родственна эта литература? Каков её подлинный исток, каково её место в системе эстетических координат эпохи, какие произведения других авторов могут прояснить значение непонятных мест и дополнить фрагментарные картины?

Если Дионисиоса Соломоса часто сравнивают с Пушкиным (и я сам не удержался от этого сравнения в своей статье об его творчестве⁵²), то Пападиамантиса принято сопоставлять с Достоевским⁵³. В этом сравнении есть немалая доля истины, и как минимум два фундаментальных качества, — блестящий

⁵¹ Παπαδιαμάντης Α. *Απάντησις εις τον Ζ. της “Εφημερίδος”/ Άπαντα, τ. Ε’*. Αθήνα, 2005. Σ. 316

⁵² Харламов И. Во славу неоконченных поэм / Дионисиос Соломос. *Одинокая слава. Избранные произведения*. М., 2020.

⁵³Первым это сходство заметил К. Паламас; в наши дни трудно встретить исследование творчества греческого прозаика, где не упоминался бы Достоевский.

психологизм и укоренённость в православной традиции, — устанавливают между ними своеобразное родство. Но сколь велико сходство, столь велика и разница, и главное, что необходимо отметить в этой связи, — практически полное отсутствие философской риторики в пападиамантисовском письме. Оно не равносильно отсутствию философии; как видно даже из той скудной и весьма упрощённой информации, которую даю я в этом очерке, *философии* у Пападиамантиса предостаточно, а качество её довольно высоко, но у него почти не встречаются *философствования*. Герои Достоевского в своих беседах и размышлениях выстраивают готовые философские нарративы, досконально проработанные и цельные, благодаря чему его произведения уподобляются диалогам Платона, тогда как герои Пападиамантиса раскрываются в моменты молчаливых взаимодействий с окружающим миром. Речи их могут быть скудны, рассуждения сбивчивы, но каждое описываемое автором движение, каждый жест, каждый элемент их одежды или интерьера (как, например, глубоко символичная лампадка в сценах с Франкоянну в “Убийце”) даёт читателю возможность самостоятельно выстроить такой нарратив, — если он сочтёт это необходимым, — причём каждый символ допускает одновременно несколько интерпретаций.

Немало общих черт роднит Пападиамантиса и с его французским современником, Ги де Мопассаном⁵⁴, за чьим творчеством греческий писатель, судя по всему, следил — хотя сказать, какие именно произведения в какое время он мог прочесть, не всегда возможно. Тема детоубийства и тема общественного дна (впрочем, применительно к островной аграрной общине термин “дно” не совсем верен и уместнее говорить об её маргинализованных членах) оказываются главными лейтмотивами, объединяющими сюжетные предпочтения двух прозаиков, но ещё большее сходство обнаруживается в самом строе их новелл и рассказов,

⁵⁴ Πολίτου-Μαρμαρινού Ε. Παπαδιαμάντης, Μορpassant και Τσέχοφ: Από τη Σκιάθο στην Ευρώπη // Σύγκριση, 7. Αθήνα, 1996. Σσ. 30-58.

“колеблющихся между рассказом и репортажем”⁵⁵. Любопытны и предпринимавшиеся попытки сравнительного анализа письма Пападиамантиса и письма А. П. Чехова⁵⁶, чьи рассказы писатель переводил на греческий язык. Разумеется, не стоит вести речь о прямых заимствованиях: к этому времени манера Пападимантиса была полностью сформированной. Но такие сопоставления полезны для понимания внутренних императивов, которыми руководствовался писатель, прибегая к тому или иному выразительному средству, а равно и для понимания общих литературных тенденций, продиктованных самой эпохой.

Истоки литературных приёмов, которые интегрировал Пападиамантис в свой зрелый писательский метод, довольно эклектичны, и выделить среди массы разнородных произведений, прошедших через его руки, наиболее знаковые не так-то просто. Безусловно, на него оказала влияние греческая литература XIX в., начиная с исторической прозы романтического периода (примечательными представителями этого жанра были А. Рангавис, С. Ксенос, П. Каллигас) и заканчивая бытописанием, вошедшим в моду в 1880-х гг. В “Розовых берегах” устами одного из героев Пападимантис признаётся, что в своих стихотворных опытах подражал поэту Ахиллеасу Парасхосу. Что касается влияния иностранной литературы, прежде всего необходимо упомянуть французский натурализм, — хотя сводить его к Золя, как это сделал Ксенопулос, как минимум нежелательно, — но во многих произведениях отчётливо просматриваются и отголоски западноевропейского готического романа, и кое-какие находки, взятые из американской прозы, и настроения, характерные для русской литературы середины XIX в. Переосмысленные и переплавленные самобытным подходом Пападимантиса, все они образуют не лоскутное полотно или гибридный механизм, составленный из заимствованных деталей, но гармоничный синтез, каждая часть которого может *отсылать* к массе прототипов, но никогда не *подражает* им.

⁵⁵ Πολίτου-Μαρμαρινού Ε. Ibid. Σ. 34

⁵⁶ Πολίτου-Μαρμαρινού Ε. Ibid.

Что же до мировоззренческих истоков, их следует искать в двух пластах: народной мифопоэтической традиции и духовной православной литературе. О первой я подробно расскажу далее, а среди богословских источников исследователи особо выделяют т. н. филокалических отцов, или колливадов, — представителей аскетического движения, зародившегося на Афоне в XVIII в.⁵⁷ Составленный и изданный ими сборник святоотеческих произведений, — “Филокалия” (или “Добротолюбие” в устоявшемся, хотя и неточном, русском переводе), — имел своей целью продемонстрировать и возродить практически утраченные к тому времени основы византийского мистического христианства. Согласно этому учению, главной задачей христианина является непрестанное духовное бдение и созерцание божественного света, которое, вкупе с очищением от плотских страстей и греховных соблазнов, открывает перед ним путь к воссоединению с первоисточником жизни, Богом. Хотя Пападиамантис практически никогда не вдаётся в пространные богословские размышления на страницах своих произведений, предпочитая язык притчи и символа, филокалические настроения на самом деле пронизывают всю его зрелую прозу, и не стоит удивляться, что современные греческие богословы причисляют к аскетической литературе его собственные книги. Так, например, поступает митрополит Иерофей: чувство, с которым писатель приступает к изображению человека, “безусловно, называется исихастским, филокалическим”; герой Пападиамантиса “сохраняет в себе красоту творения, “образ и подобие” остаются в нём, хотя и очернённые, вместе с плотскими ризами грехопадения”⁵⁸.

Взаимоотношения Пападиамантиса с классической древностью, без наследия которой новая и новейшая греческая литература попросту невообразима, отличаются большей

⁵⁷ Τριανταφυλλόπουλος Ν. Φωνή αβελτίωτη. Ο Παπαδιαμάντης, οι Κολλυβάδες και ο Μοναχισμός / Δαιμόνιο Μεσημβρινό. Έντεκα κείμενα για τον Παπαδιαμάντη. Αθήνα, 1978. Σσ.94- 103

⁵⁸ Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος. Η ρωμηοσύνη του Παπαδιαμάντη // Θεολογία, Τ. 82, τ. 4. Αθήνα, 2011. Σσ. 82-84.

напряжённостью, чем у многих его предшественников и современников. Будучи “поповичем”, как писатель сам называл себя порой, воспитанным в строгих традициях православного благочестия, он едва ли мог воспринять — или вспомнить в себе самом — дохристианское наследие столь же органично, как это удалось бы светскому человеку. Хотя предпринимались попытки представить Пападиамантиса великим знатоком античности⁵⁹, его познания в этой сфере едва ли существенно превосходили уровень гимназиста-отличника. Бесспорно, он был знаком с ключевыми памятниками древней литературы и нередко использовал прямые и завуалированные отсылки к ним, но никакой функции, кроме иллюстративной или дидактической, они не несут. Уделяя минимальное внимание классической философии и полностью игнорируя высокое богословие античной эпохи, Пападиамантис признаёт гражданские добродетели и художественное мастерство дохристианского времени; в том же, что связано с религией, он делает акцент на магических практиках, “колдовстве”, — впрочем, без строгого осуждения, — и даже стихотворение Сапфо трактует скорее как тёмный заговор, нежели как горькую молитву человеческой страсти. Из всех богов чаще всего упоминается Геката, как если бы древность была тождественна хтоническим культам. Сказались на его мировоззрении и суеверия: так, в рассказе “Узорешительница” руины древнего храма противопоставлены руинам христианской церкви и изображаются как “проклятое место”, что эффектно оттеняет антитезу целомудрия и чувственной любви, но в основе своей восходит, разумеется, к местным предрассудкам. Тем не менее, православие Пападиамантиса никогда не становится воинствующим, его религиозность не опускается до уровня фанатизма, а мистицизм тяготеет не к средневековой прямолинейности, но к эллинистической мягкой иносказательности. Оставаясь истовым христианином и ни в чём не отходя от догм своей веры, на поверку

⁵⁹ См., напр. Καλοσπύρος, Ν. Η αρχαιογνωσία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αθήνα, 2002. Попытка сопоставить плач тюленя с поэзией Архилоха исчерпывающим образом характеризует методологию этой работы.

Пападиамантис оказывается и эллином⁶⁰ — натурфилософом и исследователем человеческой природы, руководствующимся сугубо эллинским императивом *μηδὲν ἄγαν*, “ничего сверх меры” — и той самой “горькой человечностью”, которая за многие столетия до принятия христианства предначертала путь развития греческой культуры.

Хотя поэт, прозаик и литературный критик Теллос Агрос, восхищаясь эрудицией Пападиамантиса, упоминал “древних и византийских писателей” и приписывал ему безупречные познания ещё в десятке областей, включая турецкий язык,⁶¹ при пристальном рассмотрении становится ясно, что по-настоящему блестяще он разбирался лишь в двух темах: всех тех особенностях материальной и духовной культуры своей местности, которые в наши дни называются этнографическими данными, и православной традиции, причём под последней следует понимать не только литургические тексты и богословские сочинения, но и множество неканонических, стихийно возникавших в народной среде, представлений и практик. Исторические данные в пересказе Пападиамантиса не лишены искажений; с аналогичными искажениями он вставляет фразы на турецком, русском и других языках, цитирует Коран и т. д. Но топография родного острова, обрядовые практики, элементы быта островитян, особенности их говора со всеми профессиональными, сословными и гендерными нюансами, их поговорки и присказки, поверья и предания воспроизведены на страницах его сочинений с

⁶⁰ Одним из первых эту мысль озвучил Г. Ксенопулос в упоминавшейся критической статье; Одиссеас Элитис придал ей наиболее поэтичное оформление: “На какой бы странице мы ни остановились, из-под христианина проглядывает эллин: из-под одержимого мистика — полуденный гений чувственности, из-под человека церкви — человек плоти, душистых трав, морской волны” (Ελύτης Ο. Ibid.) Сходного мнения придерживался и Димитрис Лиандинис, выдающийся философ второй половины XX в. (Λιαντίνης Δ. Ποίηση και Ζωή / Ελληνικά. Αθήνα, 2005. Σσ. 61-62.)

⁶¹ Άγρας Τ. Πώς βλέπομε σήμερα τον Παπαδιαμάντη // Κριτικά, τ. 3. Αθήνα, 1984. Σσ. 45-46.

ювелирной точностью. Формально Пападиамантиса можно было бы причислить к мастерам регионалистской литературы, но важно понимать, что любой навязанный извне термин, будучи истолкованным слишком буквально, вредит пониманию авторского замысла. Пападиамантис вовсе не ставил перед собою цель создать краеведческий альбом, где характерные представители его родного края, надев национальные одежды, позировали бы в интерьерах традиционных жилищ и пересказывали читателю местные сплетни и байки. Этнографизм его произведений — не самоцель, а инструмент. Это отмычка, позволяющая проникнуть в потаённые уголки человеческого сознания, и фонарик, освещающий спрятанные там механизмы взаимодействия с реальностью, — причём под реальностью стоит понимать не только материальное окружение, постигаемое рассудком и физическим чувством, но и целую совокупность явлений высшего порядка, постигаемых интуитивно. В их число у Пападиамантиса входят и тёмная мистика кровного родства, и непреклонная воля судьбы, и чудотворные вмешательства Провидения, и проклятия, навлекаемые на человека грехами предков или его личными прегрешениями, и тонкий мир духов. Читая его произведения, трудно не вспомнить ещё об одном великом феномене мировой литературы — латиноамериканском магическом реализме, с которым у греческого писателя обнаруживается тесная и глубокая общность, хотя Пападиамантис ушёл из жизни за 8 лет до публикации первого стихотворения юного Борхеса и за 16 лет до рождения Габриэля Гарсиа Маркеса.

* * *

Итак, “регионализм” Пападиамантиса при внимательном рассмотрении оборачивается мистическим космизмом: взяв островок и его обитателей в качестве микрокосма, минитаурной модели мира, писатель предаётся созерцанию и исследованию мироустройства во всей его неохватной полноте. Это хорошо видно не только на примере “Убийцы”, где из повествования о непроглядной тьме семейного быта вырастает извечный миф о Медее и её детях, а из него — страшная и горестная сага о природе безумия, но и на примере небольших

рассказов. Так миниатюры “Плач тюленя” или “Могилушка пустынная”, не отличающиеся ни остросюжетностью, ни детализацией психологических портретов, открывают перед читателем почти иконописные картины, где самый ландшафт и “всякое дыхание” в нём вторят человеческой скорби, а каждый поворот каменистой тропинки, каждое слово старинной сказки и каждая нота, выдуваемая из дудочки сельским пастушком, оказываются воплощёнными жестами самой судьбы: не знаменами и не символами, но живыми волеизъявлениями Предначертанного. Космос Пападиамантиса одухотворён и, как сказали бы русские философы начала XX в., софиен, то есть творчески-мудр; он исполнен справедливости, которая подчас может показаться жестокой, но служит божественным целям, и простые вещи обладают в нём столь явной метафизической силой, что напускная сверхъестественность уже не нужна. Столкновение с непознанным всегда происходит спонтанно: в повседневных занятиях, обыденных встречах, в смутных сновидениях, грёзах и оговорках, которые можно без особого труда объяснить рационалистически — как игру подсознания или фантазии; мистические события не нарушают законов физики, а события рядовые не исключают мистической трактовки. Этот мир живёт и движется на границе между теологией и материализмом, между мифом и бытом, “между человеческой и божественной справедливостью”, балансирует на тончайшей черте между очевидным и неведомым — но никогда не срывается ни в ту, ни в другую сторону. Более того: зачастую писатель прибегает к обманным манёврам, как в рассказе “Груз костей”, где бесхитростный рассказчик принимает горе старого пса за обыкновенное желание погрызть косточку и не находит ничего странного в его присутствии на перезахоронении останков. Подобно тюленю из рассказа об утонувшей девочке или птицам из последней главы “Убийцы” (отвернувшемуся, впрочем, от нераскаявшейся преступницы), пёс выступает в рассказе как проводник-посредник между миром мёртвых и миром живых, психопомп, — но ничто не мешает читателю принять прозаическую трактовку рассказчика и не вдаваться в эти материи.

Особое место в метафизике Пападиамантиса занимает метафизика пространства; едва ли можно найти в его произведениях локацию, не обладающую символическим тайным смыслом. Каждый из этих символов заслуживает подробного разговора, а многие нуждаются в целых исследованиях, но для того, чтобы в общих чертах понять стоящие за ними идеи, вовсе не обязательно уподобляться Порфирию Тирскому, написавшему трактат из тридцати шести глав о крохотном отрывке “Одиссеи”. Представления и верования, на которые опирается Пападиамантис в этой части своего творчества, отнюдь не являются специфическими; в той или иной форме они присущи практически любому индоевропейскому народу, а посредством сельских и городских легенд, народной мифологии, сказок, памятников мировой литературы и даже кинематографа, в котором вновь и вновь воспроизводятся всё те же архетипы, каждый из нас уже получил необходимый минимум знаний: необходимо лишь применить его к пападиамантисовской символике. Лиминальными пространствами, пространствами-порталами, выступают у него пограничья стихий: морские и речные берега, мысы, гроты, обрывы, пещеры, а также руины рукотворных сооружений (в особенности руины священных зданий; полученные в таких местах знания зачастую оказываются наваждением, уводящим на тёмную тропу: так после импровизированного обряда в осквернённой церкви старая Хадула укрепляется в мысли о собственной непогрешимости и совершает второе убийство). Не в меньшей степени важны ограды, заборы, перегородки, стены и другие маркёры границ между разными слоями действительности; важно и то, каким способом их преодолевают герои: легитимно, через дверь или калитку, или иначе, в нарушение ритуальных правил. Подглядывая из-за полуобвалившейся стены, дед Парфенис в “Ведьмах” переступает границу обыденного и незваным гостем вторгается в полупотусторонний, полувоображаемый мир сельского колдовства. “Выходившее на север, подгнившее, отсыревшее” окошко в хижине пастуха, через которое спасается бегством Франкоянну, служит символом её окончательного перехода под власть нечистого духа (или попросту моральной

деградации), а высывающийся в окно мечети ага иллюстрирует вырождение и упадок ислама в отдалённых провинциях Османской империи. Но наиболее многослойным и мрачным оказывается символ колодца (или синонимичной ему водосборной цистерны); он является нечестивой купелью в чёрном обряде убийства — но и крестильней, из которой уходит в жизнь вечную невинная жертва, миниатюрой бездны — и обозначением женской утробы, но не в рождающей, а в пожирающей, разрушительной ипостаси. Утопление в его самых разнообразных формах — лейтмотив всего творчества Пападиамантиса; женская стихия воды, очистительная и поглощающая, не просто “тесно связана” со смертью в его личной мифологии, но *сама является* материальным воплощением смерти — и после этого пояснения становится немного понятнее, почему обычный ливень в одноимённом рассказе описан как нечто столь ужасающее.

Многомерное, таинственное пространство, в котором обитают герои Пападиамантиса, лишено каких бы то ни было явных искажений и фантастических элементов; оно абсолютно реалистично, и все вольности или погрешности, допущенные писателем, не отличаются от вольностей и погрешностей, допускаемых реалистами. Но двигаться в нём приходится по законам мифа — или само оно движется навстречу героям по этим законам, то зацикливаясь, то двоясь, то открывая потайные пути, то преграждая дорогу. Хижина пастуха Лирингоса с её иконами, лампадкой, очагом и хворым младенцем в колыбели оказывается двойником комнаты, где старуха совершила своё первое преступление, словно мироздание, возвратив убийцу в исходную точку её пути, даёт ей последний шанс раскаяться. Опасная тропа над обрывом позволяет престарелой беглянке уйти от погони, но вызывает головокружение у её молодых преследователей, чтобы те со своим человеческим судом не смогли помешать свершению высшей кары. Скальная ниша, где пыталась заночевать Франкоянну, смешивается в её сознании с заброшенной церковью, а Чёрная пещера кажется ей водоскопом, в котором она утопила дочерей своего соседа. И то же самое пространство, столь недоброе по отношению к обезумевшей

старухе, укрывает и утешает маленькую Аретулу, подсказывает безнадежно больному Никосу место, где он сможет умереть без мучений, и даже восстанавливает справедливость в отношении отравившейся “ведьмы”, чтобы и её душа не была лишена поминовения.

Местное общество с его многочисленными иерархическими ступенями, статусами, сословиями и ремёслами, элементами различных национальных культур и религий, являет собой такой же мифологический (или сказочный) лабиринт; ни одна деталь его устройства не существует *просто так*, все они обладают мистической изнанкой и все задействованы в глубинных процессах, которые и являются истинным содержанием невзрачной и монотонной повседневности островитян. Женское сообщество хранит одни тайны, мужское — другие; корабельщик и земледелец обладают различными сакральными функциями, а ребёнку и старику дозволено видеть больше, чем юноше и зрелому человеку. Ведовская сила и другие тёмные качества женской природы наиболее ярко проявляются у вдов: вдова-отравительница из рассказа “Рождественский хлеб” желает погубить бесплодную невестку, вдова Сираино сводит турецкого чиновника в могилу своей порчей или внушением, вдова Франкоянну убивает детей. Но тот же самый магический (или психологический) потенциал имеет совершенно другую направленность у девственниц, и незамужняя Амерса использует свои способности, которые сама считает ясновидением, исключительно с целью предотвратить беду — сначала спасая брата, а затем безуспешно пытаясь спасти племянницу. Большинство одиноких мужчин тоже отмечено каким-либо даром, но для них, в отличие от женщин, это сопряжено с понижением статуса, со стигмой, напоминающей стигму русских юродивых — если только этот мужчина не отшельник и не монах, то есть не легитимизировал своё одиночество посредством особой инициации. Монахи же обладают спонтанной прозорливостью, которой сами не осознают: так, отец Иоасаф из “Убийцы” походя предсказывает утопление Франкоянну, а старец Пётр из “Могилушки пустынной” предвосхищает своими рассказами смерть юного Никоса и намекает на уготованное ему небесное

благо. Пастух Камбанахмакис, “горный дикарь”, хотя и женатый, получает особую функцию вестника благодаря своей укоренённости в природном мире и изоляции от сельской общины, а “блажной и безурядный” паренёк-дудочник из “Плача тюленя”, поневоле оказавшийся проводником маленькой Акривулы в загробное царство, ещё не стал полноправным членом мужского сообщества в силу своей молодости. Единственный способ обуздать мистические силы, бушующие в человеке и вокруг него — посредством брака, продолжения рода и труда закрепиться в “земной” реальности, в строгом обыденном распорядке общинной жизни, но и это не гарантирует покоя. Обуреваемые страстями и житейским недовольством женщины пытаются колдовать, малейшая оплошность может навлечь на человека проклятие или сглаз, окружающие предметы и природные явления населены духами, чью волю невозможно предугадать, и даже религия, как мы видим из рассказа “Узорешительница”, зачастую поворачивается к людям своей тёмной стороной и разрушает их судьбы не хуже порчи.

Все эти элементы — и массу других, перечислить которые исчерпывающим образом невозможно физически, — исследователи-литературоведы порой интерпретируют как собственные изобретения Пападиамантиса и даже пытаются увидеть в них некие симптомы или признаки его психического

состояния.⁶² Человек, знакомый с этнографической наукой, исследованиями традиционного уклада и мифопоэтического мировоззрения, понимает, что это не так. Подобно тому, как Дионисиос Соломос черпал свои приёмы в народной поэзии, Пападиамантис черпает их в традиционных воззрениях среды, в которой прошло его детство, и воспроизводит их не так, как это сделал бы человек внешний, горожанин-наблюдатель, — дистанцируясь, анализируя, поясняя и критикуя, — но как носитель живой традиции, впитавший её с молоком матери и превосходно знающий смысл каждой детали, но не видящий нужды в пояснениях. С одной стороны, эта особенность может слегка затруднить рационалистическое, интеллектуальное понимание его произведений. С другой же, именно она придаёт им универсальность и вызывает эмоциональный отклик даже у самого неподготовленного читателя. Механизмы, позволяющие нам воспринимать этнографические статьи, необходимо создавать с помощью специального образования, тогда как механизмы, позволяющие нам воспринимать сказки, формируются у большинства людей ещё в детстве. Хорошо, когда человек может *объяснить* значение сказки, но даже если не может — сказка превосходно обходится без объяснений; она апеллирует непосредственно к древнейшим слоям нашего подсознательного, минуя наносные

⁶² Настойчивые попытки проанализировать символику Пападиамантиса с психиатрической точки зрения предпринимал французский исследователь Ги Сонье (Saunier, G. Εωσφόρος και άβυσσος. Ο προσωπικός μύθος του Παπαδιαμάντη. Αθήνα, 2001); его метод, укладывающийся в стандартный неопрейдистский подход, подхватывает Н. Эвзонас: Ευζώνας Ν. Η Φόνισσα ως ψυχοσωματική ομολογία του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη // Ελληνικά, Τ. 65, τ. 2. Θεσσαλονίκη, 2015. Σσ. 315-353. Основы этого подхода блестяще изложил Т. Феодоропулос: “Логика проста: литература — это не более чем сведение счетов со своей личной мифологией. (...) Элементы, из которых состоит миф Пападиамантиса, таковы: мать, отсутствие отца, природа, бездна, вино и борьба с инаковым, то есть, другими словами, борьба за идентичность. (...) По моему мнению, это нагляднейшим образом демонстрирует, до какой степени ограниченным стало в наши дни академическое прочтение литературы.” (Θεοδωρόπουλος Τ. Η άγιος ή μυθιστοριογράφος. // Τα Νέα, 22/12/2001)

пласты и пробуждая в человеке корневую историческую память. Такую память пробуждает и мифопоэтический, сказочный мир, созданный Пападиамантисом из быта и преданий его родного острова, и если в большинстве случаев писатель рассказывает страшные или грустные истории, то лишь потому, что такова жизнь простого народа, автора и главного героя волшебных сказок.

Переводить сочинения Пападиамантиса я начинал без каких-либо серьёзных намерений, играючи: мне хотелось испытать себя, примеряя к русскому языку его своеобразный и полифонический стиль, в котором кафаревуса сочетается с самыми грубыми просторечиями, православная традиция — с классическими приёмами западноевропейской прозы, а атмосфера байки, рассказываемой старожилем крохотного селения — с духом поздневизантийских легенд. Я сам не заметил, как “втянулся”, и из отдельных рукописей, которые я порою публиковал в интернете, выросла заготовка книги. Излишне повторять постулаты, которые я в той или иной форме привожу во всех послесловиях или предисловиях к переведённым мною греческим книгам: превыше всего я ставлю авторский стиль и ту совокупность индивидуальных приёмов, которая называется поэтикой; стараясь хирургически точно воспроизводить смысловые нюансы, равное (или даже большее) уважение я стараюсь проявлять по отношению к художественной целостности текста. Пападиамантис не стал исключением из этого правила; основная часть моих усилий была направлена на то, чтобы читатель мог ощутить завораживающую магию его письма, его нехитрые, местами наивные, но всегда уместные и эффективные выразительные приёмы. Отдельное внимание мне пришлось уделить сохранению нескольких разнородных речевых пластов: двух пластов простонародного языка (условно обозначим их как “общепростонародный” и “глубинный”), литературного языка того времени и языка греческой церковной (или, скорее, околоцерковной) среды. Особого отношения потребовала и ономастика: имена и, в особенности, прозвища героев не всегда

несут в себе какой-либо вложенный автором символизм, но всегда отражают бытовавшую на острове крестьянскую традицию. Подавляющее большинство этих прозвищ я транслитерировал, но часть всё-таки перевёл, чтобы читатель мог составить некое представление о том, по каким принципам они строились. Задачей, которую я почти не смог решить, осталось моделирование специального женского идиолекта, — той совокупности лексем, выражений и речевых приёмов, которую использовали в своих разговорах женщины и практически никогда не употребляли мужчины. Я постарался, насколько это было возможно, передать этот пласт с помощью интонационных нюансов и тщательного подбора лексики для женских реплик, но не могу сказать, что мне удалось воссоздать речь героинь как некий целокупный и отчётливо выделяющийся в ткани повествования феномен.

Читатели моих неопубликованных рукописей, русские и греки, отнеслись к ним благосклонно, но часть академической среды — закономерно и ожидаемо — встретила их с неприятием, как встречает любые работы, не происходящие из университетского цеха. Так, несколько человек не преминуло упрекнуть меня в том, что я использую “слишком много” русских диалектизмов, нарушая формальные правила, установленные переводческим цехом, и якобы “размывая границы” между греческой и русской “этнокультурными реальностями”. И действительно: я сознательно использовал в этих переводах элементы русских говоров, прежде всего казачьих, хотя и выстраивал реплики так, чтобы казачья “реальность”, выражаясь языком моих оппонентов, не подменяла греческой. На эту критику я подробно и взвешенно ответил в докладе, тезисы которого были опубликованы в 2020 г.; я упоминаю его лишь потому, что он служит свидетельством научного диалога, который я пытался вести со своими оппонентами, но вдаваться в специализированную полемику в этом послесловии мне не хотелось бы. Если же пересказывать мои убеждения простым языком, то они заключаются в том, — и это моё кредо останется неизменным независимо от любых нападков, — что при работе над художественным текстом гармонические приёмы диктуются самими свойствами

произведения, а не неким сводом преходящих и привнесённых извне “правил”; то же самое применимо, например, к деятельности дирижёра: интерпретируя партитуру, он должен исходить из замысла композитора и реальных возможностей своего оркестра, а не из формализма. К счастью, оркестр, именуемый русским языком, обладает несметными богатствами, задействовать которые для воссоздания художественных техник и интонационных нюансов не только можно, но и необходимо, — разумеется, если придерживаться всё того же принципа умеренности. Что же касается “размытия реальности”, я сомневаюсь, что по вине моих экспериментов читатели этой книги вообразят, будто её действие разворачивается в России. Но если мне удалось показать им хотя бы малую часть невероятной пластики пападиамантисовской речи, её лексического разнообразия и интонационной полифонии, то эти эксперименты, безусловно, были успешными.

Если я и должен в чём-то покаяться, то совершенно в другом: волею судьбы получилось так, что роман “Убийца” я переводил одновременно с Ариной Резниковой, ученицей выдающейся исследовательницы Ф. А. Елоевой (разумеется, я ничего не знал об этом проекте и, более того, находился в то время в другой стране). Я отношусь к этой работе более чем благожелательно и не могу не заметить, что влияния западноевропейской литературы отражены в ней более отчётливо, чем в той версии, которая вышла из-под моей руки. Вероятно, мне и вовсе не следовало бы публиковать “Убийцу” спустя столь небольшой срок после выхода её перевода, но по многочисленным просьбам друзей я всё же решил это сделать и сейчас со всей ответственностью говорю, что ни малейшего элемента соревновательности, конкуренции или даже “ревности” искать в этой публикации не стоит. Задумывая эту серию, я не планировал извлечь из неё решительно никакой корысти — напротив, я трачу на её создание свои личные средства; никаких карьерных устремлений, связанных с переводческим цехом, у меня не было и нет; перевод А. Резниковой заслуживает бесспорного уважения, а читатель имеет полное право выбрать тот вариант, который больше придётся ему по

вкусу — или даже составить мнение на основе их сочетания. Надеюсь, эти аргументы достаточно убедительны, чтобы уважаемая Арина Резникова не заподозрила меня в злонамеренности.

Сотрудничая с разными издателями, которым я искренне и глубоко благодарен, я получал массу удовольствия от человеческого общения, но в одном себя ограничивал: за какой бы сопроводительный материал я ни брался, большинство личных суждений мне приходилось опускать, — я считал неприемлемым превращать коллективный труд в площадку для собственных манифестов. Сейчас, работая в полном одиночестве, я могу позволить себе личное высказывание. У этой серии, как и у всех моих проектов, нет решительно никакой цели, кроме целей непосредственно поэтических; всё, что я делаю — чистейшей воды идеализм, но пропитанный и подкреплённый киническими настроениями; эта книга готовилась к изданию в тёмные времена, и, вероятно, на подходе темнейшие; обладая историческим образованием и являясь, в сущности, патологоанатомом истории, я не вижу никаких оснований для оптимизма; я не верю даже в то, что урок человечности и бесхитростной мудрости, который можно извлечь из новейшей греческой литературы, может быть в полной мере усвоен на самой родине этой литературы — не говоря уже о других культурах и странах. Но уже хотя бы из чувства противоречия, из чувства неповиновения тёмным стихиям, имеет смысл “продолжать свою песню” — упрямо и не обращая внимания ни на какие внешние обстоятельства, как Яннис Мотовило.

И. Х.

Hariuvata, декабрь 2022 — февраль 2023

DE ME IPSO



Ипполит Харламов (р. 1984) — писатель, поэт, исследователь.

Неоплатоник по религиозно-философским убеждениям.

Автор поэтических сборников “Signum” (2019), “Три слова варвара” (2022), прозаического сборника “Opus Albarium” (2022), ряда эссе и сценариев.

Профессионально занимается исследованием и переводом классической новогреческой литературы, преимущественно поэзии.

Основные публикации в России:

- О. Элитис. Достойно есть (изд-во ОГИ, 2019).
- О. Элитис. Слово июля (изд-во ОГИ, 2020)
- Антология современной греческой поэзии (изд-во Алетейя, 2020)
- Д. Соломос. Одинокая слава (изд-во ОГИ, 2021)

Номинант Государственной литературной премии Греции (2020), шорт-лист премии “Мастер” (2021).

Ο Ιππόλυτος Χαρλάμωφ (γεν. 1984) είναι συγγραφέας, ποιητής, ερευνητής. Ακόλουθος της αρχαιοελληνικής νεοπλατωνικής παράδοσης.

Έχει εκδόσει ποιητικές συλλογές “Signum” (2019), “Τρία λόγια ενός βάρβαρου” (2022), συλλογή πεζογραφίας “Opus Albarium” (2022). Επίσης γράφει δοκίμια, θεατρικά έργα και σενάρια.

Ασχολείται επαγγελματικά με έρευνα και μετάφραση κλασικής νεοελληνικής λογοτεχνίας, κυρίως ποίησης.

Ανάμεσα στις μεταφράσεις δημοσιευμένες στη Ρωσία:

- Ελύτης Ο. Το Άξιον Εστί. (εκδόσεις OGI, 2019).
- Ελύτης Ο. Ιουλίου λόγος. (εκδόσεις OGI, 2020)
- Ανθολογία σύγχρονης νεοελληνικής ποίησης (εκδόσεις Aletheia, 2020)
- Σολομός Δ. Η Δόξα μονάχη (εκδόσεις OGI, 2021)

Βραχεία λίστα του Κρατικού Λογοτεχνικού βραβείου της Ελληνικής Δημοκρατίας (2020).

Βραχεία λίστα του μεταφραστικού βραβείου “Μαεστρία” (Ρωσία, 2021).

СОДЕРЖАНИЕ

УБИЙЦА

6

РАССКАЗЫ

130

Груз костей

131

Заколдованные ворота

136

Порча аги

143

Узорешительница

155

Плач тюленя

166

Могилушка пустынная

170

Сиротинушка

175

Ливень

183

Ведьмы

189

Александрос Пападиамантис: человек-остров-космос

197

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Η ΦΟΝΙΣΣΑ

6

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

130

Φορτωμένα κόκκαλα

131

Η στοιχειωμένη καμάρα

136

Ο αβασκαμός του Αγά

143

Η φαρμακολύτριά

155

Το μυρολόγι της φώκιας

166

Έρημο μνήμα

170

Ο πεντάρφανος

175

Το θεοπόντι

183

Οι μάγισσες

189

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: ο άνθρωπος, η νήσος, το σύμπαν

197

